
МИЛА СЕВЕРИНА
Бывшая жена генерала-дракона
Истинная пахнет ложью
Аромат истинной • книга 1

Мила Северина

Бывшая жена генерала-дракона. Истинная пахнет ложью

«Автор»
2026

Северина М.

Бывшая жена генерала-дракона. Истинная пахнет ложью /
М. Северина — «Автор», 2026

Семь лет я была женой генерала-дракона и пахла для него пустой комнатой. На победном балу его зверь нашёл истинную — и муж при всём дворе залил нашу брачную курильницу морской водой. Развод, пепел в урне и лента «год и день» на запястье.Теперь я бывшая жена с бабушкиной парфюмерной лавкой в портовой Тальме, где меня никто не ждёт. Я умею одно — слышать запахи. И от новой истинной генерала пахнет нотой, которой не бывает в природе.Гильдия ароматов сделает всё, чтобы я молчала. А бывший муж каждый вечер стоит под моей дверью и, кажется, впервые за семь лет меня слышит.Поздно, генерал. Сначала я узнаю, чем пахнет ложь.Первая книга трилогии «Аромат истинной».Развод. Генерал-дракон. Бывшая жена. Фальшивая истинная. Героиня-парфюмер. Бытовое фэнтези. Он пожалеет.

© Северина М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Нота, которой нет 6
Глава 2. Погашение 10
Глава 3. Пепельная лента 14
Глава 4. Лавка «Мерель» 18
Глава 5. Солдат, который не спит 23
Глава 6. Пёс с таможни 28
Глава 7. Дыра в воздухе 33
Глава 8. Чешуйка 37
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Мила Северина
Бывшая жена генерала-дракона. Истинная пахнет ложью

Мила Северина
Бывшая жена генерала-дракона
Истинная пахнет ложью
Трилогия «Аромат истинной». Книга первая

Глава 1. Нота, которой нет

Победа пахла горелой смолой и чужими духами.

Смолу жгли во всех сорока курильницах Зала курильниц — по одной от каждого Великого дома и ещё восемнадцать от купеческих гильдий, которым очень хотелось, чтобы их запомнили. Духи принадлежали трёмстам гостям, и добрая половина из них лгала. Ложь пахнет просто: кислым потом под розовой водой. Я стояла у третьей колонны слева, держала бокал, из которого не пила, и считала лжецов, как другие считают овец перед сном.

Двадцать восемь. Двадцать девять. Казначей короны, который поздравлял лорда-адмирала с победой и боялся его до мокрых ладоней. Тридцать.

Никто не смотрел на меня. Это я умела лучше всего.

Меня зовут Ирис Валеро. Семь лет я была женой генерала-дракона Армана Валеро, командующего Южной армией и Южным флотом, — того самого, который вчера на рассвете сжёг тессийский флот у мыса Сорро и закончил войну, длившуюся двенадцать лет. Звучит громко. На деле жена по договору — это как хороший шкаф работы старого мастера: им гордятся, о нём рассказывают гостям, но в него никто не заглядывает.

От меня ничем не пахло. Мама называла эти духи «Тишиной» и мазала мне запястья с шести лет, каждое утро, после умывания и до завтрака. «Так безопаснее, девочка». Почему безопаснее, она не успела объяснить: умерла, когда мне было пятнадцать. Я привыкла. Человек без запаха похож на чистое оконное стекло: сквозь него смотрят на сад и не замечают, что оно есть.

Зато я замечала всё.

Вон лорд Дорсан, сизый дракон, улыбается жене и думает о другой — от него пахнет чужой лавандой, свежей, не старше часа. Вон две дочери казначея шепчутся за веерами: зависть у юных девушек пахнет пудрой и горячей кожей, как утюг, забытый на шёлке. Вон гвардейцы у дверей: начищенная медь, конская сбруя и усталость. Они стояли здесь с полудня.

С полудня.

Я снова вспомнила галерею. В полдень, когда дворец ещё пах воском и мокрым мрамором, я шла через Зеркальную галерею с поручением от кастеляна — проверить, доставили ли из нашего дома парадный мундир мужа, — и мимо меня прошла девушка в белом. Совсем юная, светлая, глаза в пол. За ней тянулась нота, от которой я даже обернулась: горькая, зелёная, свежая, как лист, который только что сорвали с ветки и смяли в пальцах. Верхняя нота. Красивая. Смелая для дебютантки.

«К вечеру уйдёт», — подумала я тогда. Верх всегда уходит. Это первое, чему бабушка учила меня в лавке, когда я ещё не доставала носом до стола: «Верх — это приветствие, девочка. Сердце — разговор. База — то, что остаётся, когда гость ушёл».

Музыка сменилась. Гости зашевелились, повернулись к высоким окнам, за которыми гасла полоса заката над заливом, и по Залу прокатился звук, который я знала лучше любой мелодии: вдох трёхсот человек одновременно.

Над стеклянным куполом прошла тень.

Охряный дракон не любит садиться красиво. Он падает, как камень с обрыва, а в последний миг раскрывает крылья — и воздух бьёт в стёкла так, что дрожат подвески люстр. Песочный цвет, тёмные полосы по хребту, будто кто-то провёл по спине умброй. Я видела это семь лет — издали, с балконов, с причалов, из окна кареты. Ни разу — близко.

На террасу он ступил уже человеком. Чешуйная нить мундира ушла из чешуи обратно в ткань, плечи опустились, крылья исчезли. Высокий, загорелый, тёмные волосы коротко, седая прядь у левого виска, шрам через бровь. Он вошёл в Зал, и Зал закричал.

Я тоже хлопала. Шкафы не кричат.

Он шёл к трону через расступающуюся толпу и пах так, как пахнет человек, который двое суток не слезал с неба: горячий песок, кедровый дым, кожа сёдел, а поверх — гроза. Перед боем вокруг него всегда пахло грозой. После боя — тоже, ещё долго.

Он увидел меня. Это я поняла по тому, как дрогнул его подбородок: узнал, вспомнил, кто я такая, и вспомнил, что положено.

— Леди Валеро, — сказал он, проходя, и наклонил голову.

— Милорд.

Я присела ровно настолько, насколько полагается жене при людях. Семь лет брака уместились в кивок и одно слово. Если считать честно, это было больше, чем в прошлую нашу встречу: тогда, полгода назад, он просто прошёл мимо — спешил на совет.

Я любила его. Наверное, это надо сказать сразу, чтобы потом не было неловко. Я любила его тихо и безнадёжно, как любят далёкий город, в котором никогда не бывали: по картинкам, по рассказам, по запаху писем, которые он присылал не мне, а кастеляну. Он не был жесток. Он был вежлив, честен и всё время на войне. А когда возвращался, смотрел сквозь меня, как сквозь стекло, и я никогда не могла понять, кого за этим стеклом он ищет.

Теперь война кончилась. Я поймала себя на глупой мысли: может быть, теперь у него найдётся время заглянуть в шкаф.

— Император! — выкрикнул герольд, и Зал склонился.

Гаэтан Третий поднялся с трона. Старый дракон, сухой и высокий, с белой бородой и глазами цвета выцветшего янтаря. От него пахло старой смолой, горьким лекарством и пылью бархата. Справа от трона стоял наследник, принц Эмиль, — молодой дракон с чернильным пятном на манжете; он пах бумагой и мокрой травой, и это был единственный честный запах на всей той стороне Зала. Слева, в сером платье и тонких серых перчатках, стояла моя тётя.

Ориана Мерель, глава Гильдии ароматов, Первый нос империи. Мамина старшая сестра. Прямая, как трость, серебряные волосы гладко назад, лицо почти без морщин. Белая амбра, холодный металл и чуть-чуть фиалки — так пахнет дорогая шкатулка, которую никто никогда не открывал. Тётя поймала мой взгляд через весь Зал и едва заметно склонила голову: держись, девочка. Она была единственным человеком при дворе, который здоровался со мной первым.

Я улыбнулась ей. Мне было почти хорошо.

Император говорил о победе. Говорил хорошо: коротко, без лишних слов о славе, с именами погибших капитанов. Потом поднял кубок, и Зал поднял за ним свои, и где-то за моей спиной два лорда одновременно подумали, что старик слишком долго живёт: зависть и нетерпение пахнут почти одинаково, только нетерпение кислее.

Ближе к полуночи к генералу подошёл Фабрицио Корсо.

Банкир короны был тучен, улыбчив и очень умён в деньгах. От него пахло медью монет, кожей кошельков и розовой водой — деньги, которые хотят казаться садом. Он вёл под руку девушку в белом. Ту самую, из галереи.

Вблизи она оказалась ещё моложе: лет девятнадцати, не больше. Светлые волосы уложены по последней моде, огромные голубые глаза, тонкие пальцы, которые она сжимала так, что белели костяшки. Лилиан Корсо, младшая дочь. Я слышала о ней: тихая, послушная, полгода провела «на водах», откуда вернулась ещё тише.

— Мой генерал, — пропел Корсо, — позвольте моей дочери поздравить спасителя империи…

Я стояла в восьми шагах. Достаточно близко, чтобы видеть лицо мужа. Достаточно далеко, чтобы никто не подумал, что я подслушиваю.

Он повернулся к девушке вежливо, как поворачивался ко всем, — и остановился.

Есть миг, который знает каждый, кто вырос рядом с драконами. Человек застывает посреди движения. Ноздри раздуваются. Зрачок тянется вверх и вниз, превращаясь из круг-

лого в узкую тёмную щель. На ключицах, в вырезе мундира, проступает чешуя — песочная, с тёмной каймой. Это зверь поднимает голову. Зверь услышал запах.

Арман вдохнул. Медленно, глубоко, всей грудью, как вдыхают воздух после долгой болезни.

На шее Лилиан, под левым ухом, на светлой коже, проступил завиток. Сначала бледный, как след от пальца на запотевшем стекле, потом ярче, темнее, цвета охры с золотом — цвета его масти. Метка истинной.

— Истинная! — ахнул кто-то рядом со мной.

И Зал взорвался.

Хлопали все. Лорды, их жёны, купцы, гвардейцы у дверей забыли о строе. Корсо прижимал руку к сердцу, и от него пахло таким торжеством, что мне захотелось чихнуть. Лилиан стояла белая, как её платье, и смотрела в пол. Тётя аплодировала тонкими серыми ладонями. Император улыбался.

Я тоже хлопала. Руки делали это сами.

А нос делал своё.

Аплодисменты гнали по Залу волны воздуха, и одна из них донесла до меня запах девушки целиком. Лилия — дорогая, правильная, для невесты. Под ней что-то тёплое, неясное, я не успела разобрать. И сверху, поверх всего, — горькая зелень. Сорванный лист. Свежий, как будто его смяли в пальцах только что.

В полдень он был таким же.

Я перестала хлопать.

Двенадцать часов. Верхняя нота не живёт двенадцать часов. Ни цитрус, ни зелень, ни листья — ничто летучее. Через четверть часа от сорванного листа остаётся память, через час — тень, через три — даже память выветривается, и на коже звучит сердце. Это не тайна мастеров. Это знает любая девчонка, которая хоть раз разбавляла духи в лавке. Это знаю я, как своё имя.

А эта зелень сидела на девушке так, словно лист сорвали с ветки у неё за спиной.

Мне бы плакать, наверное. Мне бы бежать к мужу, хватать его за рукав, кричать при всех. Вместо этого я стояла у третьей колонны с бокалом в руке и думала о летучести. Бабушка бы мной гордилась. Мама бы, кажется, испугалась.

Чем можно удержать верх двенадцать часов? Я перебрала всё, что знала. Серая амбра держит базу, но не верх. Мускус держит сердце. Смолы — себя и немного соседей. Мхи… Нет. Никакой фиксатор, который я встречала за двадцать три года у органа, не прикуёт сорванный лист к коже на полдня.

Значит, это не тот фиксатор, который я встречала.

Или это не духи.

Музыканты, опомнившись, заиграли что-то торжественное. Арман всё ещё стоял перед девушкой и дышал ею, а она не поднимала глаз. Его рука поднялась — сама, без приказа хозяина — и замерла в воздухе у её щеки, не касаясь. Я смотрела на эту руку. Семь лет она ни разу не поднималась ко мне так.

Хорошо, что я ничем не пахну. Если бы пахла, весь Зал сейчас услышал бы, что я чувствую.

— Ну, — шепнула рядом со мной жена лорда Дорсана, не глядя на меня, — вот и всё, милая. Поздравляю.

Она даже не знала, кого поздравляет. Она говорила с колонной.

Арман повернулся к трону. Зрачки у него так и остались узкими, и это было неправильно: зверь должен был опустить голову, насытившись, а он стоял, как часовой у ворот, и смотрел туда, где стояла девушка. Чешуя на ключицах не уходила. Генерал поклонился императору — глубже, чем кланялся, когда входил.

— Ваше величество, — сказал он, и голос у него был ровный, тот самый, которым он, наверное, отдавал приказы над горящим морем. — Мой зверь нашёл истинную. По праву истинной я прошу расторгнуть мой договорный брак.

Зал затих так быстро, словно кто-то накрыл его стеклянным колпаком.

Триста человек повернулись — не ко мне, нет. Они искали меня взглядами и не находили, и это было бы смешно, если бы не было так больно. Наконец кто-то из гвардейцев у колонн нашёл серо-голубое платье и тихо кашлянул. Головы повернулись ко мне.

Я стояла прямо. У меня это получалось лучше всего, после того как я научилась не пахнуть.

Право истинной. Я знала его наизусть, как знает его каждая жена дракона по договору: дракон, встретивший истинную, расторгает договорный брак за один день. Курильницу брака гасят морской водой при свидетелях. Бывшая жена получает вдовью долю, теряет титул, дом и имя мужа и год и день носит на запястье пепельную ленту. Мы все знали. Мы все жили с этим, как живут у вулкана: строят дома, сажают виноград и стараются не смотреть на дым.

Тётя у трона едва заметно качнула головой. «Не надо, девочка», — говорил её взгляд. Чего именно не надо, я не поняла.

Император смотрел на генерала долго. Потом на меня. Его взгляд скользнул по мне, как по стеклу, и остановился на девушке с меткой.

— Победителю не отказывают, — сказал он. — Тем более в праве, которое старше этого дворца. Когда, генерал?

Арман не посмотрел на меня. Ни разу.

— Сегодня, ваше величество.

— Сегодня же, — повторил император и улыбнулся в бороду. — Империя любит быстрые победы.

Кто-то засмеялся — нервно, неуместно, — и смех подхватили, и Зал снова наполнился шумом, музыкой и запахом облегчения: всем было приятно, что праздник не испорчен, что всё решено и решено красиво.

Герольд ударил жезлом в пол.

— Погашение брачной курильницы дома Валеро — в полночь, в этом Зале, при свидетелях! — объявил он так радостно, будто объявлял танцы.

Я поставила бокал на постамент колонны. Аккуратно, чтобы не звякнул.

До полуночи оставалось меньше часа. Мой брак собирались погасить, как свечу, — при свидетелях и под музыку. А девочка в белом пахла сорванным листом, который не должен был дожить до вечера.

Глава 2. Погашение

Курильницу нёс Гаспар.

Наш кастелян служил дому Валеро сорок лет, ещё отцу Армана, и всегда ходил так, словно под ногами у него лёд, а в руках — чужое стекло. Сейчас в руках у него была бронза: брачная курильница на трёх львиных лапах, с охряным драконом над холмом на крышке. Он нёс её через Зал перед собой, на вытянутых руках, и толпа расступалась, как перед похоронной процессией. От Гаспара пахло воском, лимонным маслом для полировки — он чистил мундиры генерала сам, никому не доверял, — и под этим — кислым, старым, как вино, которое забыли в погребе. Страхом.

Странно. Чего бояться кастеляну на чужом разводе?

Курильницу поставили на треногу в середине Зала, под куполом. Я знала каждую царапину на её крышке. Семь лет назад на нашей свадьбе в ней впервые сожгли две смолы — его и мою. Его смолу варили в Сарране: кедр, сухие травы степи, немного ладанника. Свою я сделала сама, как полагается невесте: мастиковая смола, ирисовый корень, который бабушка сушила три года, и капля апельсинового цвета — в память о маме. С тех пор курильницу разжигали в праздники. Точнее, разжигала я. Каждую Ночь Смол. Его смолу и свою, одна, в пустой гостиной, потому что генерал был на войне.

Однажды он прислал письмо кастеляну: «Пусть леди Валеро не утруждается». Леди Валеро утруждалась. Курильница была единственным местом, где мы с ним хоть как-то были вместе.

Гаспар снял крышку и разжёг угли. Над бронзой поднялся слабый дым — последние крохи нашего брака: кедр, мастика, ирис. Я узнала его, как узнают голос в соседней комнате.

— Подойди, леди Валеро, — сказал герольд.

Я подошла. По обычаю жена стоит по левую руку от курильницы, муж — по правую. Арман уже стоял на своём месте. Справа от него, на полшага позади, — Лилиан Корсо в белом, с меткой под ухом. Она дрожала. Мелко, всем телом, как дрожат собаки, которых привязали у чужого порога. На неё никто не смотрел — все смотрели на генерала и на меня.

А я смотрела на неё. И на её метку.

Я видела метки истинных и раньше: у старой герцогини Ортанс, например, которой было за девяносто и которая до сих пор краснела, когда к ней подходил муж. Метка живёт. Она теплеет, когда дракон рядом, наливается цветом, как щека. Метка Лилиан была ровной, яркой и неподвижной. Нарисованной.

Герольд поднял жезл.

— Дом Валеро! — провозгласил он. — Твой зверь нашёл истинную. Договор исполнен и окончен. Пусть море погасит то, что зажёг договор.

Двое слуг внесли серебряный кувшин. Морскую воду для погашения берут из залива в тот же час, ночью, при факелах — так велит обычай. Я подумала, что сегодня кто-то из дворцовых мальчишек сбегал к воде в разгар праздника, ругаясь, что пропустит сладкое. Мысль была такой будничной, что я чуть не улыбнулась.

Кувшин взял сам Арман. Тоже по обычаю: гасит тот, кто расторгает.

Он не посмотрел на меня и в этот раз. Он смотрел на угли.

Вода ударила в бронзу с шипением, с каким кот ругается на собаку. Пар рванулся вверх белым столбом, ударил в лицо, в руки, обжёг солью. Я невольно отшатнулась на полшага — и почувствовала, как горячая солёная влага садится на запястья, туда, куда утром я, как всегда, нанесла «Тишину».

Дым нашего брака умер. Кедр, мастика, ирис — всё погасло разом, остался только мокрый пепел и запах горячего железа.

Рядом со мной Арман вдруг поднял голову. Резко, как поднимают её на окрик. Я увидела, как дрогнули у него ноздри, как зрачок снова стал узкой щелью. Чешуя на ключицах вспыхнула песочным — и тут же погасла. Он моргнул. Поморщился, словно от боли в висках. И снова опустил взгляд на угли.

Я не поняла, что это было. Решила — пар.

Герольд взял с подноса маленькую глиняную урну, серую, без узоров, и деревянной лопаткой переложил в неё мокрый пепел.

— Прими пепел своего брака, — сказал он. — Он твой.

Я приняла. Урна была тёплой и тяжелее, чем казалась. Семь лет весили немного.

— Я принимаю пепел, — ответила я, как полагалось.

Голос не дрогнул. Я была собой довольна. Это было единственное, чем я могла быть довольна в ту ночь.

Потом лента. Её вынесли на подушке — серую шёлковую ленту в палец шириной. Пепельную. Завязать её должен был муж — бывший муж, — на левом запястье бывшей жены. Чтобы все видели.

Арман взял ленту. У него были большие руки, загрубевшие от поводьев и рукоятей, со старыми белыми шрамами на костяшках. Он обвёл ленту вокруг моего запястья и затянул узел. Аккуратно, ровно, как перевязывают рану товарищу на поле. Пальцы его коснулись моей кожи — тёплые, сухие, — и ничего не случилось. Ничего не дрогнуло ни в нём, ни в Зале. Я пахла ничем, и он завязывал узел на ничем.

Это было хуже, чем если бы он затянул слишком туго.

— Год и день, — сказал герольд.

— Год и день, — повторил Арман. Это были первые слова, которые он сказал мне после «леди Валеро» в начале вечера.

Новую курильницу внесли сразу, она ждала за колонной — золочёная, с завитком на крышке, явно заказанная не сегодня. Об этом я подумаю потом, решила я. Потом. Сейчас мне нужно было дожить до утра.

Арман бросил на угли свою смолу — тот же сарранский кедр. Потом Лилиан, по знаку отца, протянула над курильницей руку и уронила на угли каплю духов из маленького флакона.

Пар снова ударил вверх. На этот раз — жаркий, без соли, густой. Я стояла по левую руку, на месте бывшей жены, и по обычаю должна была видеть новый дым. Я его не только видела.

Горькая зелень — сорванный лист — рванулась в лицо так ярко, словно лист сорвали сейчас, над самым огнём. Под ней — лилия. А под лилией — что-то густое, тёмное и тяжёлое, что держало эту зелень, как держат за волосы. Это был не мускус. Не амбра. Не смола. Я не знала этого запаха. Я, которая в девятнадцать лет на Состязании носов назвала двести сорок материалов с завязанными глазами.

Брызги кипящих духов попали мне на рукав — серо-голубой шёлк потемнел пятном величиной с монету.

И я сказала это вслух. Не потому, что решила. Потому что двадцать три года у органа научили меня называть то, что я слышу.

— Это подделка.

Тишина в Зале стала такой плотной, что в ней было слышно, как трещат угли.

— Что? — переспросил герольд.

— Этот запах, — сказала я. Голос был мой, спокойный, тихий и отчётливый — я говорила так с поставщиками, когда они пытались продать бабушке разбавленное розовое масло. — Верхняя нота, зелёная, держится на этой леди с полудня. Так не бывает. Её держат. Я не знаю чем, но это не её запах. Это подделка.

Кто-то хихикнул. Кто-то ахнул. Жена лорда Дорсана громко прошептала: «Бедняжка». Ко мне повернулись, наконец-то, все головы Зала — и все они смотрели на меня с тем выражением, с каким смотрят на собаку, которая вдруг заговорила.

Фабрицио Корсо засмеялся первым. Смех у него был тёплый, бархатный, как кошелёк изнутри.

— Ревность, сударыня, пахнет хуже любых духов, — сказал он. — Это знает каждый. Не позорьте себя. Ваш брак окончен.

Я смотрела не на него. Я смотрела на мужа.

Арман поднял голову и наконец посмотрел мне в лицо. Глаза у него были янтарные, с вертикальным зрачком, и в них не было ничего — ни злости, ни жалости. Туман.

— Не унижайся, Ирис, — сказал он.

Он назвал меня по имени. Впервые за много лет — в последний раз он произнёс моё имя, кажется, на нашей свадьбе, когда герольд велел ему повторить клятву. И теперь — вот так.

Это было как пощёчина, которую дают не со зла, а чтобы успокоить. Я почувствовала, как горят щёки, и порадовалась, что от меня ничем не пахнет: в Зале было слишком много драконов, которые слышат стыд.

— Девочка. — Рядом оказалась тётя. Серая перчатка легла мне на локоть легко, по-родственному. Белая амбра, металл, фиалка. — Тебе больно. Это понятно. Пойдём, я отведу тебя. Не надо сейчас.

— Нет, тётя, — сказала я. — Я досмотрю.

Она посмотрела на меня долгим взглядом — внимательным, ласковым, усталым, — сжала мой локоть и отступила. От неё на миг потянуло чем-то холодным, как застёжка на зимнем плаще. Потом опять амброй.

Герольд кашлянул, вспомнил, где находится, и стукнул жезлом.

— Вдовья доля леди… — он заглянул в свиток и поправился: — госпожи Ирис Мерель, по брачному договору. Лавка ароматов Мерель на улице Медных Весов в городе Тальме со всем, что в ней, — наследство её рода. И пятьдесят золотых.

Пятьдесят золотых. Столько стоил хороший выездной конь. Лавку мне и так оставила бабушка два года назад — я ни разу её не видела с тех пор, «жене генерала не пристало торговать», как объяснил мне Гаспар. Вдовья доля вышла щедрой, как подарок, который тебе и так принадлежал.

— И по обычаю, — продолжил герольд, повышая голос, потому что это была любимая часть двора, — в Ночь Смол, на свадьбе дома Валеро, отвергнутая поднесёт смолу новой хозяйке курильницы. В знак того, что уступает дом.

Зал зашелестел одобрительно. Обычай считался красивым. Его придумали мужчины.

— Поднесу, — сказала я.

Ночь Смол была через три с небольшим месяца. Я подумала тогда: доживу ли. Не в смысле жизни — в смысле себя.

* * *

Арман

Когда вода ударила в угли, зверь поднял голову.

Он не поднимал её так с самого детства — резко, весь, разом, как поднимаются в седле на звук трубы. Пар пах солью и горячим железом. И ещё чем-то. Хлебом. Тёплым хлебом с коркой, морем перед грозой и сухим, пудровым, как старая бумага в отцовском кабинете. Запах ударил зверя в морду, и он рванулся к нему — внутри меня, под рёбрами, туда, где у людей просто сердце.

А потом на шею ему легла рука. Чужая, холодная, тяжёлая. Пригнула. Он заскулил — я никогда не слышал, чтобы он скулил, — и лёг.

Голова стала тяжёлой, как шлем, налитый водой. Я моргнул. Пар рассеялся. Хлеба не было. Была лилия и горькая зелень, и девочка рядом со мной, которую мой зверь назвал истинной, и метка у неё под ухом цвета моей масти.

Я посмотрел на женщину с урной.

Леди Валеро. Моя жена. Бывшая — с этой ночи. Серые глаза, коса, тяжёлая, как корабельный канат, прямая спина. Я знал о ней всё, что знают из донесений: из хорошей семьи мастеров, тиха, хозяйство ведёт безупречно, на балах не танцует. Я знал это, как знают строчку из устава. Я завязал ей ленту и ничего не почувствовал. Совсем ничего.

Это должно было меня успокоить. Почему-то испугало.

Потом она сказала «подделка», и что-то во мне — не зверь, нет, зверь лежал смирно, — что-то другое, человеческое, на миг повернулось к ней и прислушалось. Но голову ломило всё сильнее, и девочка рядом дрожала, и Корсо смеялся, и я сказал то, что говорят в таких случаях. Сказал её имя. Не знаю, почему именно его.

Принято, подумал я. Окончено.

Голова болела до утра.

* * *

Ирис

Наши покои в доме Валеро — уже не наши — были на втором этаже, окнами в сад. Я поднялась туда в первом часу ночи, одна. Слуги в коридорах отворачивались. Не из жестокости — из неловкости: никто не знал, как теперь называть женщину, которая утром ещё была хозяйкой.

Гаспар ждал у двери. Он уже успел вернуться из дворца раньше меня, это было на него похоже.

— Госпожа Мерель, — сказал он. Мерель. Быстро же. — Карета в Южную гавань будет в шесть утра. Корабль уходит в Тальму с отливом. Ваши вещи уложат. Его светлость распорядился…

— Его светлость сегодня много распоряжался, — сказала я. — Спасибо, Гаспар. Я сама.

Кислый запах страха снова потянулся от него, как сквозняк из погреба. Он поклонился и ушёл.

Я закрыла дверь и села на край кровати, на которой семь лет спала одна. Урна стояла на столике. Лента на запястье была серой, шёлковой и лёгкой. Её почти не чувствовалось. Наверное, так и задумано: чтобы ты всё время проверяла, на месте ли она.

Мне полагалось плакать. Я честно подождала. Слёз не было. Был рукав.

Пятно на серо-голубом шёлке подсохло и потемнело. Я поднесла рукав к лицу.

Зелень. Горькая, свежая, живая. Через час после погашения она звучала так же, как над углями.

Я встала, открыла нижний ящик комода, где под ночными сорочками лежала шкатулка с пробниками — единственное, что осталось у меня от ремесла за семь лет, потому что ни Гаспар, ни горничные не считали её чем-то, кроме дамской безделицы. Достала стеклянную пробирку с притёртой пробкой и маленькие ножницы. Отрезала с рукава кусок шёлка с пятном — ровный, в два пальца, — свернула его, вложила в пробирку и запечатала пробку воском от свечи.

Потом подержала пробирку на ладони. Лёгкую, как пустую. В ней лежало всё, что у меня было.

Бабушка говорила: «Нос не врёт, девочка. Врут те, кто не хочет его слушать». Мама говорила: «Никогда не снимай „Тишину“». А я семь лет никого не слушала, кроме кастеляна.

Я посмотрела на ленту на запястье, на урну с пеплом, на пробирку.

Если это подделка, я её докажу. Даже если для этого мне придётся снова стать той, кем мне запретили быть.

Глава 3. Пепельная лента

Сундуки уложили без меня, и уложили хорошо: платья — в тонкую бумагу, бельё — в лаванду, туфли — каждую пару в отдельный мешочек. В доме Валеро всё делали хорошо. Даже выставляли за дверь.

— Это всё, госпожа Мерель, — сказал Гаспар.

Было без четверти шесть. Над садом стоял серый рассвет, и пахло мокрыми розами, конским навозом от каретного сарая и свежим хлебом с кухни. Гаспар стоял в дверях моих бывших покоев, сухой, прямой, в чёрном сюртуке, застёгнутом до горла, — как будто не ложился вовсе. Наверное, не ложился.

— Не всё, — сказала я.

Я открыла шкаф. Там, под вешалками с бальными платьями, которые уже не понадобятся, стоял дорожный ящик. Ореховый, с медными уголками, потёртый на крышке до светлого дерева. Бабушкин. Сорок восемь гнёзд для флаконов, спиртовка, медные весы величиной с ладонь, стопка пробных ленточек, перевязанная бечёвкой, и маленькая лупа. Я привезла его в этот дом семь лет назад вместе с приданым, поставила в шкаф и больше не открывала. Почти.

— Его светлость распорядился… — начал Гаспар.

— Его светлость не знает, что это такое, — сказала я и вытащила ящик сама. Он был тяжёлым. Я забыла, какой он тяжёлый.

От кастеляна снова потянуло тем же, что ночью в Зале: кислым, застоявшимся, старым. Страх пахнет по-разному. У солдата — железом и потом. У ребёнка — молоком. У старика, который боится не за себя, — вот так, погребом. Гаспар смотрел на ящик так, словно я вынула из шкафа змею.

— Это склянки, Гаспар, — сказала я мягко. — Женские пустяки. Вы сами так говорили.

Он поклонился. Пустяки уехали со мной.

Во дворе ждала карета. Никто не вышел меня проводить — кроме Бетты, кухарки, которая выскочила из задней двери в фартуке, в муке по локоть, и сунула мне в руки свёрток, тёплый и тяжёлый.

— Хлеб, — сказала она сердито, будто я в чём-то провинилась. — Чтоб не голодная. Вы ж вечно завтрак пропускали.

Я хотела сказать, что пропускала его, потому что завтракать одной в столовой на двадцать персон глупо. Не сказала. Обняла её. Бетта охнула, растерялась, пахнула дрожжами и луком и убежала.

Окна генеральских покоев на третьем этаже были закрыты. Я посмотрела на них один раз. Потом карета тронулась.

* * *

Корабль назывался «Медная серьга». Каботажный бриг, пузатый и неторопливый, возил вдоль побережья всё подряд: шёлк из Альберы на юг, соль и пряности из Тальмы на север, людей — в промежутках между тюками. Капитан посмотрел на мою ленту, на мои сундуки, ещё раз на ленту и отвёл мне каюту на корме. Каюта была величиной со шкаф. Я сочла это остроумным.

Пять дней вдоль берега.

Лента на запястье оказалась удивительной вещью. Я и не знала, сколько всего можно сказать о человеке, не сказав ни слова. Купчиха из Ларго, ехавшая к сестре, увидела ленту за завтраком на палубе и оттащила дочь от поручня рядом со мной: «Не стой близко, к несчастью». Дочери было лет пять, ей было интересно, она оглядывалась. Пожилой стряпчий с саквояжем, наоборот, весь первый день ходил вокруг, вздыхал и наконец спросил, не нуждаюсь ли

я в «советах по имущественным делам». От него пахло чернилами и надеждой на гонорар. Я сказала, что моё имущество умещается в каюте величиной со шкаф. Он ушёл разочарованным.

На второй день ко мне подошёл матрос — молодой, с серьгой в ухе, весёлый.

— Отвергнутая, значит? — спросил он, глядя на ленту. — Генералу не сгодилась? Так, может, боцману сгодишься. Боцман у нас не привередливый.

Сзади заржали. Я посмотрела на матроса внимательно, как смотрю на новый материал, и втянула воздух.

— От вас пахнет вчерашней рыбой, — сказала я. — Мокрой шерстью. Дешёвым мускусом, который вы купили в Альбере у ворот рынка: торговец разбавляет его маслом из рыбьей печени, а вы переплатили втрое. И страхом. Немного. Потому что у вас за спиной стоит капитан.

Матрос обернулся. Капитан стоял за ним. Матрос получил подзатыльник и ушёл драить что-то на носу. Остаток пути меня никто не трогал, а боцман — пожилой, лысый, с ручищами, как вёсла, — на третий день молча принёс мне кружку горячей воды с мёдом. Видимо, в знак того, что он не привередлив.

Торговка рыбой из Тальмы, Нунция, необъятная и громкая, как чайка, оказалась единственной, кто не смотрел на ленту вовсе. Она смотрела на мой нос.

— Ты из Мерелей, что ли? — спросила она на третий вечер, когда мы стояли у борта и смотрели, как солнце садится в воду. — Нос у тебя мерелевский. У старой Аделины был такой. Крючком. Она этим носом за десять шагов чуяла, если у меня рыба вчерашняя.

— Это бабушка, — сказала я.

— Померла она. Два года как.

— Я знаю.

— Лавка-то заколочена стоит. — Нунция сплюнула за борт, деловито, без злобы. — Там, говорят, мальчишка какой-то завёлся, ворует… Не знаю. А соседка у вас там… ну, увидишь.

— Что — соседка?

Нунция подумала, подбирая слово.

— Громкая, — сказала она наконец, и это прозвучало от неё как приговор.

По ночам я не спала. Каюта качалась, за стеной скрипел руль, и где-то внизу, в трюме, тюки с шёлком пахли пылью и чужими складами. Я лежала на узкой койке и думала о летучести. Это было лучше, чем думать о муже.

На третью ночь я зажгла свечу, достала из ящика пробирку с куском рукава, сломала восковую печать и чуть-чуть, на волос, приоткрыла пробку.

Зелень.

Горькая, свежая, как в полдень во дворце. Три дня. Три дня на шёлке, в стекле, в духоте кормовой каюты.

Я закрыла пробку и запечатала снова. Руки у меня были совершенно спокойны. Это всегда так: когда страшно по-настоящему, руки перестают дрожать. Бабушка говорила, что у парфюмеров это от холодной закладки — сорок лет перекладывать лепестки жасмина на жир при свечах приучает пальцы к терпению. Я в лавке не работала семь лет. Пальцы, оказывается, помнили.

Я достала маленькую записную книжку в кожаном переплёте, которую тоже возила в шкатулке с пробниками, и стала записывать. Не чувства — материалы.

Амбра: держит базу, сердце — частично, верх — нет.

Мускус: то же, теплее.

Смолы: себя, соседей, верх — нет.

Мхи: базу. Верх — нет.

Корни: ирис держит пудру, не зелень.

Нет. Нет. Нет.

Значит, это не тот фиксатор, который знаю я. А чего не знаю я, того почти никто не знает. Я написала это и подчеркнула. Потом зачеркнула «почти». Потом вернула. Скромность в моём положении была роскошью, но гордыня — ещё большей.

Мама никогда не пускала меня купаться в море. Ни разу. Все дети Тальмы с весны до осени плескались у старой пристани, ныряли с причальных свай, приносили домой раков и ссадины, а я сидела на тёплом камне в широкой шляпе и нюхала водоросли. «Нельзя, девочка». Почему нельзя — опять не объяснила. Я вспомнила об этом утром шестого дня, когда «Медная серьга» входила в залив Тальмы, волна перехлестнула через борт, и меня окатило брызгами до локтей.

Я сразу ушла в каюту и нанесла «Тишину» заново. Хрустальный флакон, мамин, с притёртой пробкой, был почти полон: месяца на три, если не расточительствовать. Мне не нравилось, что я не знаю, что будет, когда он кончится. Мне вообще многое не нравилось в то утро.

Тальма встретила дождём.

Тёплым, южным, проливным, который не освежает, а только поднимает из камней все запахи разом. Я стояла на сходнях с ящиком в руках и дышала. Соль. Дёготь с верфей. Сушёная рыба — где-то рядом вялили треску. Корица со складов пряного пути, горячая даже под дождём. Мокрая пенька канатов. Водоросли, гниющие у свай. Апельсиновые корки в канаве. Кислое вино из таверны на углу, которое никто не должен пить, а пьют все.

Я не была здесь десять лет: полгода в Янтарной башне, три года вторым носом у мастера Гильдии на Верхнем холме в Альбере, семь — в доме Валеро. Город пах точно так же. Это было как войти в комнату, где тебя ждали.

Носильщик с тачкой довёз мои сундуки до улицы Медных Весов за три медяка и ругань. Улица шла от старой пристани вверх, к рынку, кривая, мощёная круглым булыжником, с домами в два этажа, с балкончиками, на которых сушилось бельё, мокнущее сейчас под дождём. Название ей дал старый весовой двор в конце, где когда-то взвешивали медь с рудников. Медь давно возили через новую гавань, чаши с весов сняли, а название осталось. В Тальме всё так: вещи уходят, названия остаются.

Лавка стояла на середине улицы. Двухэтажная, узкая, с зелёными когда-то ставнями. Окна заколочены косыми досками, дверь — тоже. Над дверью висела вывеска — медный флакон в половину моего роста, позеленевший от времени и соли, на ржавой цепи. Он качался под дождём и тихо поскрипывал. Мне показалось, он говорит: «Ну, наконец-то».

Я поставила ящик на порог и стала думать, чем отдирать доски.

И тут наверху, в соседнем доме, с треском распахнулась ставня.

— Генеральша?

Голос был такой, что воробьи с карниза вспорхнули разом. Из окна второго этажа высунулась крупная женщина с закатанными до локтей рукавами, с седыми рыжеватыми волосами, кое-как заколотыми на затылке, с красными от горячей воды руками. Лет пятидесяти пяти. Глаза у неё были жёлтые, как у кошки, и злые.

— Генеральша, говорю? Тут тебе не дворец! — Она ткнула пальцем вниз. — Ключ под камнем у порога. Если мыши не съели.

— Откуда вы… — начала я.

Ставня захлопнулась. Сверху посыпалась вода.

Ключ действительно лежал под плоским камнем у порога. Длинный, медный, тёплый, как будто его только что держали в руке. Доски оказались прибиты только для вида, на два гвоздя каждая, и поддались, когда я налегла плечом. Дверь открылась со вздохом.

Внутри было темно.

Запах ударил первым. Пыль. Мышиный помёт. Мёртвая лаванда — её пучки висели под потолком торгового зала, высохшие до серого. Старый воск. Прогорклое масло. Под всем этим

— тонко, глубоко, в самом дереве полок — бабушка. Лаванда, воск и ирисовый корень. Её запах впитался в стены за сорок лет так, что два года пустоты не смогли его выгнать.

Я открыла ставню изнутри. В зал вошёл серый дождливый свет.

Прилавок, исцарапанный и тёмный. За ним — орган: уступчатые полки до самого потолка, как ступени амфитеатра, где на каждой ступени стоят флаконы. Триста двенадцать гнёзд, я помнила число. Половина флаконов стояла на местах, часть лежала разбитой на полу, в бурых пятнах выдохшегося масла. Весы на прилавке. Бабушкино кресло у окна — плетёное, продавленное, с вышитой подушкой, которую я сама вышивала в девять лет: кривой медный флакон на синем.

Я подошла к креслу и села.

Подушка была пыльной и пахла бабушкой сильнее, чем стены.

Вот тогда я и заплакала. Не в Зале курильниц, не в покоях, не на корабле, а здесь, в пыльном кресле, под мёртвой лавандой. Коротко и некрасиво, вытирая нос рукавом, как в девять лет. Я плакала о бабушке, которую не видела перед смертью, потому что жене генерала не пристало ездить в такую даль. О маме. О семи годах у окна. О курильнице, которую разжигала одна. О руке мужа, поднятой к щеке чужой девочки.

Потом перестала. Слёзы кончаются быстрее, чем кажется. Работа — нет.

Я встала, вытерла лицо и пошла через зал к двери в лабораторию. Там, за торговым залом, бабушка варила, перегоняла, смешивала, ругалась на поставщиков и учила меня держать пипетку. Дверь была приоткрыта.

В лаборатории было ещё темнее: окно заколочено. Я различила под окном громоздкую тень перегонного куба под старой простынёй, длинный стол, полки с банками. Пахло медью, выдохшимся спиртом и…

Я остановилась на пороге.

Дёготь. Морская трава. Жареные каштаны.

И дыхание. Быстрое, неглубокое, совсем близко, за кубом.

Человек, который думает, что его не слышно, дышит ртом. Это слышно лучше всего.

— Кто здесь? — спросила я.

Из-за куба поднялась тень — невысокая, щуплая, в огромной мужской рубахе. В слабом свете из торгового зала блеснуло лезвие.

— Это моя лавка, — сказал мальчишеский голос. — Уходи.

Глава 4. Лавка «Мерель»

Нож был кухонный, с обломанным кончиком. Держали его неумело, но честно — так, как держат, когда больше нечем.

— Уходи, — повторил мальчишка. — Я кричать буду.

— Кричи, — согласилась я. — Соседка придёт. Она, говорят, громкая.

Он моргнул. Нож дрогнул.

Я стояла на пороге лаборатории и не двигалась. Двигаться было незачем. Нос уже рассказал мне о нём всё, что нужно: дёготь — значит, бегает на верфи, греет руки у смоляных котлов; морская трава — спит где-то низко, у воды; жареные каштаны — у рыбного ряда их жарит старик с жаровней, который иногда отворачивается. Под всем этим — голод. Голод пахнет пустотой и немного железом.

— Ты не вор, — сказала я. — Ты здесь живёшь.

— А тебе-то что?

— Это моя лавка.

— Моя, — сказал он упрямо. — Я тут две зимы. Старуха померла, а я пришёл. Никто не приходил. Значит, моя.

Логика была безупречная. В столице на таких основаниях делили провинции.

— Как тебя зовут?

Он помолчал, решая, стоит ли.

— Нико.

— А дальше?

— Дальше ничего. Просто Нико. — Подумал и добавил для веса: — Чтоб мне треской подавиться, если вру.

Я поставила ящик на пол и зажгла огарок в медном подсвечнике у двери. Мальчишке было лет тринадцать. Тощий, загорелый дочерна, с вихрами цвета соломы и с длинным носом, который он морщил, как кролик. Рубаха на нём была мужская, до колен, подпоясанная верёвкой.

На столе стояли флаконы. Бабушкины, из органа: я узнала их по форме — у Аделины Мерель были свои флаконы, с гранёной шейкой. Рядом — кувшин с водой, воронка и кучка пустых пузырьков из дешёвого стекла.

— Ты их разбавляешь, — сказала я.

— Немножко. — Нико шмыгнул. — Морякам продаю. Красивые запахи. По медяку пузырёк. Они ж всё равно не нюхают. Они девкам покупают.

— И как, берут?

— Ещё как. — В голосе прорезалась гордость. — Я им говорю: это старухины, Мерель, самые лучшие в Тальме. Они и берут.

Самые лучшие в Тальме. Разбавленные колодезной водой.

Я должна была рассердиться, а мне стало смешно. Бабушка, наверное, перевернулась в гробу — от возмущения или от восторга, с ней никогда нельзя было угадать.

— Положи нож, Нико, — сказала я. — Я хочу кое-что проверить.

— Чего?

— Твой нос.

Он подумал. Нож опустился, но не до конца. Я подошла к органу в торговом зале, выбрала три флакона — не глядя на ярлыки, по памяти полок: третий уступ слева, седьмое гнездо; пятый уступ, второе; верхний ряд у самого края. Вынула из ящика пробные ленточки. Макнула кончик каждой, помахала, чтобы ушёл спирт.

— Закрой глаза.

— Зачем?

— Затем, что глаза врут. Закрой.

Он закрыл. Я поднесла к его носу первую ленточку.

— Это… — Он втянул воздух, сморщился. — Это как у Бальдо в подвале, когда он бочку открывает. Тёплое. Колется в нос.

Гвоздика. С корицей, старая, хорошая. Я поднесла вторую.

— Это у тётки Коры в прачечной. Когда она бельё в синьку… нет, когда сушит. На верёвке. На солнце.

Лаванда. Разумеется. Бабушкина лаванда с холмов за городом. Третья.

Нико нюхал долго. Потом открыл глаза, хотя я не разрешала, и посмотрел на меня растерянно.

— Не знаю, — сказал он. — Как будто кто-то плакал, а потом перестал.

Я опустила ленточку.

Это была амбра. Не просто амбра — «амбровая слеза», бабушкина выдержанная настойка серой амбры, тридцать лет в тёмном стекле. Последний флакон. Так её и называли в лавке, «слеза», и никто не объяснял почему, а этот мальчишка с вихрами объяснил за три вдоха.

— Нико, — сказала я, — ты ел сегодня?

— Каштаны.

— А вчера?

— Каштаны.

— Хорошо. Вот как мы сделаем. Ты больше не разбавляешь бабушкины флаконы и не продаёшь их морякам. Ты остаёшься здесь. Будешь мне помогать. Показывать город, носить воду, мыть склянки. Учиться. Я кормлю.

— Чем учиться?

— Носом.

Он посмотрел на меня так, словно я предложила ему стать адмиралом.

— А платить будешь?

— Когда будет чем.

— А когда будет?

— Не знаю, — честно сказала я. — Может, никогда.

Нико подумал ещё. Потом положил нож на стол — рукоятью ко мне, как кладут взрослые, — и вытер нос рукавом.

— Ладно, — сказал он. — Только каштаны тоже можно?

* * *

Первый день в лавке пах мылом, пылью и мокрыми тряпками.

Мы открыли все ставни. Нико натаскал воды из колодца во дворе. Я нашла в кладовой бабушкин фартук, серый, с прожжённой дыркой на кармане, надела его поверх дорожного платья и почувствовала себя одновременно глупо и правильно. Леди Валеро никогда не носила фартуков. Ирис Мерель, оказывается, носила.

Мы сняли мёртвую лаванду. Вымели мышиный помёт. Нико поймал двух мышей руками и выпустил во дворе, объяснив, что это его знакомые. Мы перемыли битое стекло, собрали осколки флаконов в ведро.

Около полудня в дверь постучали так, что с полок посыпалась пыль.

На пороге стояла соседка. С горшком.

Вблизи она оказалась ещё крупнее: на голову выше меня, широкая в плечах, с руками прачки, красными и сильными, с мокрыми рукавами. Пахло от неё крахмалом, мылом и горячим утюгом — так, словно она только что гладила простыни и бросила утюг остывать на подставке.

— Суп, — сказала она и сунула мне горшок. — Рыбный. Не отравлен.

— Спасибо, — сказала я. — Я…

— Знаю, кто ты. — Она оглядела зал, мокрый пол, Нико с тряпкой, меня в фартуке. Фыркнула. — Ишь. Генеральша полы моет.

— Меня зовут Ирис.

— Знаю. Мерель. Внучка. — Она кивнула на мою руку. — И лента вон. Читать умею.

— Откуда вы знаете, кто я? — спросила я снова. — Вы утром из окна…

— Старая Аделина про тебя рассказывала, — отрезала соседка. — Каждый день. Как внучка в столице. Как внучка замужем за генералом. Как внучке пишет, а внучка не отвечает.

— Я отвечала.

— Значит, не доходило. — Она пожала плечами, словно это не имело значения. — Кора меня звать. Прачка. Вон там бельё сушу. — Она мотнула головой в сторону двора. — Не помнишь? И не надо. Если твоя псина в мою мяту полезет…

И я вспомнила. Не лицо — голос через двор. Хриплый, сердитый, на всю улицу: «Опять мои простыни на шатёр утащила, мелочь?» Мне восемь, я сижу под чужой простынёй, натянутой между бабушкиным колодцем и забором, и пахнет крахмалом и мокрым солнцем. Рыжая прачка из соседнего дома. Тогда — худая и злая, теперь — огромная и злая. Я не узнала бы её на улице. Она меня — узнала.

— У меня нет псины.

— Хорошо. — Кора посмотрела на меня ещё раз, сверху вниз, и что-то в её жёлтых глазах на миг стало другим. Не злым. Внимательным. — Год и день, генеральша. Посмотрим, сколько ты продержишься.

И ушла, хлопнув дверью.

Нико выглянул из-за прилавка.

— Она всегда такая, — сообщил он. — Но суп хороший.

Суп был хороший. Мы съели его прямо из горшка, сидя на ступеньке лаборатории, одной ложкой по очереди. Я давно не ела ничего вкуснее.

Потом я открыла лабораторию по-настоящему.

Перегонный куб под простынёй оказался цел — медный, позеленевший по швам. Полки с банками — половина выдохлась. Ирисовый корень в большой глиняной банке — жив: пудра, фиалка, сухой чердак. Последний флакон «амбровой слезы». Бабушкины тетради в сундуке под столом — двенадцать штук, исписанных её мелким злым почерком, с пятнами масла и прожжёнными углами. Рецепты, заказы, долги поставщиков, ругательства на поставщиков.

Маминой тетради не было.

Чёрная, в клеёнчатой обложке, с тесёмкой — мама писала в неё по вечерам и никогда не давала мне читать. После её смерти тетрадь исчезла. Я перебрала сундук трижды. Не было.

Тогда я села за орган — на бабушкину скамью перед уступами — и стала считать.

Триста двенадцать гнёзд. Двести шесть флаконов на местах, живых — сто сорок; остальное ушло в бурую смолу на дне. Сорок шесть разбито. Шестьдесят гнёзд пустых. Я спросила. Нико честно сказал: «Двенадцать». Остальные пустовали до него.

Сто сорок живых флаконов. Куб. Корень. Одна «слеза». Пятьдесят золотых. И руки, которые помнят.

Бывало и хуже, подумала я. Не со мной, конечно. Но бывало.

* * *

Арман

Я проснулся от того, что болела голова.

Не так, как после боя, когда кровь стучит в ушах. Голова была тяжёлая, налитая, как шлем, в который набрали воды, и сквозь эту воду мир доходил до меня с опозданием. Свет из окна. Птица в саду. Запах.

Лилия и горькая зелень. На вороте рубашки, которую я бросил на кресло. Я танцевал с ней вчера после погашения — один танец, положенный. Не помню музыки.

Я лёг обратно и прислушался к зверю. Он спал. Не так, как спит перед боем — вполглаза, с поджатыми лапами, готовый вскочить. Он лежал на боку, тяжёлый, сытый, как пьяный, и не поднимал головы, сколько я его ни звал.

Так и должно быть, сказал я себе. Он нашёл. Он доволен.

За завтраком Лоран чистил апельсин. Он всегда чистил апельсины — одной длинной лентой, не обрывая кожуру, и раскладывал её по краю тарелки, как змею. Капитан Лоран Фавье, мой адъютант, единственный человек в армии, которому разрешалось смеяться надо мной до обеда.

— Ты вчера был как лунатик, — сообщил он, не поднимая глаз от апельсина.

— Я был на балу.

— Ты был на балу, на погашении и на собственной помолвке, — согласился Лоран. — Я трижды сказал тебе, что у тебя пуговица расстегнулась. Ты не услышал. Ты стоял и нюхал эту девочку, как кот — валерьяну.

— Это истинная, Лоран.

— Я знаю, что это истинная. Весь двор знает. — Он отделил дольку и протянул мне. Я не взял. — Ты помнишь, что сказал герольду?

Я открыл рот и закрыл. Слова погашения я знал с детства — их знает каждый мальчишка Великого дома. Но что сказал вчера я сам, какими словами, каким голосом — не помнил. Помнил шипение воды. Пар. И что-то в паре, от чего зверь на миг поднял голову. Потом — ничего.

— Неважно, — сказал я.

— Как скажешь, мой генерал.

Он доел апельсин и ушёл, насвистывая, а я остался сидеть.

В нише у камина, в большой гостиной, семь лет стояла брачная курильница. Бронза, львиные лапы, дракон над холмом. Теперь ниша была пустой. Светлый след на камне, где она стояла, — квадратный, в пыльной рамке. Слуги не успели вытереть.

Я смотрел на этот светлый квадрат и ждал. Чего-нибудь. Облегчения, вины, пустоты, злости. Вчера жене завязали на руку ленту — моими руками. Мне полагалось что-то чувствовать. Отец, когда гасил мать, хотя бы злился. Я помнил: он был красный, и голос у него срывался.

Я не чувствовал ничего. Совсем.

Это было страшнее всего, что я видел у Сорро.

— Милорд. — Гаспар возник у двери, как всегда, бесшумно. Отвар чабреца на подносе, горячий. — Госпожа Мерель отбыла в шесть утра, как вы распорядились. Корабль ушёл с отливом.

— Хорошо.

— Она забрала свой ящик, милорд.

Я поднял голову.

— Какой ящик?

— Дорожный. Со склянками. — Гаспар поставил поднос. Он чуть пах страхом — старик, ему всегда страшно, что что-то пойдёт не по уставу дома. — Дамские пустяки, милорд. Я не стал препятствовать.

— Я не знал, что у неё был ящик, — сказал я.

Гаспар поклонился и не ответил. Ему нечего было отвечать. Я и правда не знал.

* * *

Ирис

Мэтр Лукас пришёл под вечер, когда мы с Нико домывали последнюю полку органа.

Смотритель Гильдии ароматов в Тальме был невысок, гладок, в бархатном камзоле не по погоде, с тремя перстнями на правой руке и испариной на висках. Дешёвый мускус и чернила. Он вошёл без стука, достал из-за пазухи бумагу и улыбнулся так, как улыбаются сборщики податей и плохие зубодёры.

— Сударыня Мерель, — сказал он. — Добро пожаловать в Тальму. Позвольте сразу о деле, не люблю утомлять дам.

Дело оказалось простым. Право лавки на продажу действующих ароматов было записано на Аделину Мерель и истекло со дня её смерти, два года назад. Чтобы возобновить его на моё имя, нужен годовой взнос Гильдии — двадцать золотых. Плюс пеня за два года просрочки — ещё двадцать. Итого сорок. Срок — тридцать дней.

— А если не будет? — спросила я.

— Опись, — ласково сказал Лукас. — В пользу Гильдии. Куб, орган, запасы. По уставу. Сами понимаете. — Он развёл руками, и перстни блеснули. — И до уплаты, разумеется, никаких действующих ароматов. Мыло, бельевая вода — пожалуйста. Сонные, успокаивающие, маскирующие — ни-ни. Штраф, сударыня. И суд.

— Понимаю, — сказала я.

— Впрочем, — он огляделся ещё раз, дольше задержав взгляд на кубе, — есть и другой путь. Продайте куб мне. Дам двенадцать золотых. И ни о какой описи речи не будет. Зачем вам куб? Генеральские жёны торгуют плохо, — он хихикнул, посмотрев на мою ленту, — привыкли, что за них платят.

Нико за прилавком сжал тряпку так, что из неё потекла вода.

— Спасибо, мэтр, — сказала я. — Я подумаю.

— Думайте, думайте. — Он сложил бумагу и сунул мне в руку. — Тридцать дней, сударыня. Потом — опись.

Он ушёл, оставив запах мускуса, разбавленного рыбьим маслом. Тот же, что у матроса на корабле. Видимо, это было модно.

Ночью я сидела на бабушкиной кровати наверху, в маленькой комнате под крышей, и считала монеты при свече. Нико спал внизу у печки — наверх идти отказался: «Внизу теплее, и я сторожу». В порту перекликались вахтенные.

Пятьдесят золотых. Если отдать сорок Гильдии — останется десять. На материалы, на еду, на свечи, на масло для куба. На мальчишку, который ест только каштаны. На полгода, если повезёт. Если нет — на месяц.

Если не отдать — через тридцать дней у меня заберут всё, чем я могу заработать.

Я сложила монеты обратно в кошель и легла, не раздеваясь. Пробирка с куском рукава стояла на подоконнике, в лунном свете, как маленький стеклянный часовой.

«Тридцать дней, сударыня. Потом — опись».

Я задула свечу. Тридцать дней. Пятьдесят золотых. И мамина тетрадь, которой не было в сундуке, — она исчезла так же тихо, как семь лет исчезала я сама.

Кто-то забрал её до меня. Бабушка — или тот, кто знал, что в ней написано.

Глава 5. Солдат, который не спит

Рынок Тальмы открывается до рассвета и пахнет так, что у непривычного человека слезятся глаза.

— Сюда, — командовал Нико, таща меня за рукав сквозь толпу. — Сначала рыба. Рыбу надо брать, пока не нагрелась. Потом хлеб. Хлеб у Тонио, у него с тмином, а у Вдовы Пеллы без тмина, но дешевле. Потом…

— Нико.

— Чего?

— Мне не нужна рыба. Мне нужны пряности.

Он остановился и посмотрел на меня с жалостью, как на больную.

— Есть-то надо?

Пришлось купить рыбу.

Я забыла, как это — ходить по рынку самой. В доме Валеро провизию закупал Гаспар, а я получала от него раз в неделю книгу расходов, расписанную ровным почерком, и подписывала внизу. Здесь всё было живое, громкое и врало на каждом шагу. Торговка устрицами клялась, что устрицы утренние, а от них пахло вчерашним вечером. Мясник хвалил баранину, а на прилавке под тряпкой у него лежал старый козёл. Девочка с корзиной фиг уверяла, что фиги из её сада, а они пахли чужим садом, сухим и далёким, — их привезли с островов неделю назад.

Я молчала. Нос мой не молчал никогда, но рот я научилась держать закрытым ещё при дворе.

А вот на меня смотрели все.

Лента на запястье работала лучше глашатая. «Генеральша», «та самая», «отвергнутая», — шептали за спиной, и я слышала шёпот, как слышат запах: по направлению, по силе, по тому, что под ним. Жалость пахнет тёплым молоком. Злорадство — уксусом. Любопытство — ничем особенным, просто человеком, который подошёл ближе, чем надо.

— Не слушай их, — буркнул Нико. — У нас всех обсуждают. Меня тоже обсуждали, когда я у Тонио булку стащил.

— И что говорили?

— Что я молодец. Тонио жадный.

Лавка Бальдо стояла в пряном ряду, под полосатым навесом, и пахла на весь ряд: гвоздика, перец, корица, кардамон, сушёный имбирь, мускатный орех и сверху — что-то сладкое, восточное, чего я не узнала с ходу и поэтому полюбила сразу. Сам Бальдо был стар, сух и сед, с усами, как у моржа, и с глазами, которые оценивали покупателя быстрее, чем тот успевал открыть рот.

— Мерель, — сказал он, не здороваясь. — Нос Аделины. Соболезную. Корица — серебряк за меру. Гвоздика — полтора. Для генеральш цены те же.

— Спасибо, — сказала я и протянула руку к корице.

Он насыпал горсть мне на ладонь. Я поднесла к лицу.

Хорошая корица. Тонкая кора, свёрнутая в трубочки, сладкая, горячая. С острова Кесса, не с материка — у материковой ноздреватая горечь, а эта гладкая, как шёлк. Только…

— Мэтр Бальдо, — сказала я негромко, чтобы не слышали соседи по ряду, — эта корица с Кессы, прошлого сбора. Хорошая. Но её держали над паром, чтобы набрала воды и тянула на весах тяжелее. Не вы, думаю. Поставщик.

Бальдо замер. Потом медленно забрал у меня корицу, понюхал сам, долго, морщась. Потом сплюнул в сторону, далеко и метко.

— Пепел ему в ноздри, — сказал он с чувством. — Три года у него беру. Три года. — Он посмотрел на меня по-новому. — Чего тебе надо, Мерель?

Я сказала, чего мне надо. Немного: кардамон, ваниль, сушёный апельсиновый цвет, если есть, мёд — для дела, не для еды, — и ещё по мелочи. Получилось почти два золотых. Это было много.

— Две недели, — сказал Бальдо и записал в толстую книгу, послюнив карандаш. — Потом в рост, как всем. Аделина мне никогда должна не была. Посмотрим, какая ты.

— Посмотрим, — согласилась я.

Мы ушли с полной корзиной. Нико молчал до самого конца пряного ряда, а потом сказал с уважением:

— Ты его уделала. Бальдо никому в долг не даёт. Он и Аделине не давал. Она у него всегда сразу платила.

— Значит, мне он доверяет больше.

— Не. — Нико подумал. — Значит, ты ему понравилась.

* * *

Про Ансельма рассказал тоже Нико.

Мы возвращались вечером с пристани, куда ходили за дешёвым стеклом с разгрузки, и у самого конца старого пирса, где доски уже прогнили и никто не ходил, сидел человек. Большой, широкий, в выцветшем синем мундире портовой стражи, с пустым левым рукавом, подколотым к плечу булавкой. Сидел, свесив ноги над водой, и смотрел в залив, где садилось солнце.

— Это Ансельм, — сказал Нико тише, чем говорил обычно. — Боцман из стражи. Он под Сорро был — весной, в первом бою у мыса, ещё до победы. Руку там оставил.

— Что он здесь делает?

— Сидит. — Нико пожал плечами. — Он не спит. С войны. Все знают. Днём служит, а ночью ходит по пирсу. Или сидит. Говорят, если заснёт, ему снится, как корабли горят, и он кричит так, что соседи в окна стучат. Вот он и не спит.

Я посмотрела на широкую спину в синем мундире.

— Давно?

— С весны. Его тогда домой отпустили. Без руки.

Полгода без сна. Я знала, что так не живут. Значит, он не жил — он ждал.

— Иди домой, Нико, — сказала я. — Поставь рыбу на холод. Я скоро.

Он открыл рот — спорить — и закрыл. Видимо, что-то увидел у меня в лице. Ушёл.

Я пошла по гнилым доскам, выбирая те, что потемнее: тёмные — мокрые, мокрые держат лучше сухих. Ансельм услышал меня шагов за десять, но не обернулся. Я села рядом — не близко, в двух шагах, — и тоже свесила ноги над водой. Платье, наверное, испачкала. Леди Валеро такого не позволяла. Ирис Мерель позволила.

От него пахло горелой смолой.

Не сейчас — сейчас от него пахло солью, мокрой шерстью мундира, маслом для тесака, хлебом, который он ел на обед, и усталостью. Но под всем этим, глубоко, в коже, в волосах, в том, как пахнет сам человек, — горелая смола. Так пахнет корабль, когда горит. Я знала этот запах: им пах мой муж, когда возвращался с войны, первые несколько дней.

— Вы из Мерелей, — сказал Ансельм. Голос был густой и низкий, как туманный рог на маяке.

— Из Мерелей.

— Генеральша.

— Бывшая.

Он кивнул, не поворачиваясь. Мы помолчали. Солнце уходило в воду медленно, как будто ему тоже не хотелось.

— Вам снится Сорро? — спросила я.

Он долго не отвечал. Потом сказал:

— Мне снится, как пахнет. Не как горит. Как пахнет. Смола. Они смолой днища мазали, тессийцы. Когда наш генерал по ним огнём прошёл, вся вода горела. Смолой пахло так, что я нос рукавом закрыл. Рукавом вот этим. — Он поднял пустой рукав. — Потом рукава не стало. А запах остался.

Я кивнула. Я понимала. Запах — это то, что остаётся, когда всё остальное ушло. База. Бабушка говорила.

— А что пахло хорошо? — спросила я. — Раньше. До войны. До всего.

Он повернулся ко мне наконец. Лицо у него было широкое, обветренное, с рыжей щетиной и с глазами, красными от бессонницы, как у кролика.

— Чего?

— Что в вашей жизни пахло хорошо? Самое хорошее. Самое первое, что помните.

Ансельм думал долго. Я не торопила. Солнце ушло. С моря потянуло вечерней прохладой, водорослями, далёким дымом с рыбацких коптилен.

— Мать хлеб пекла, — сказал он наконец. — У нас пекарня была. В Верхнем городе, у фонтана. Она вставала до света. Я маленький был, лет пять, спал на печи, наверху, и просыпался, когда она корки ломала — проверить. Корка пахла… — Он запнулся. — Не знаю, как сказать. Тёплая. С мёдом немножко, она мёдом мазала сверху. И бельё. Она бельё на ночь вешала во дворе, а утром снимала, и клала мне в ноги, сухое, холодное ещё, с лавандой. Вот. Это.

— Спасибо, — сказала я.

— За что?

— За рецепт.

Он посмотрел на меня как на сумасшедшую. Я встала, отряхнула платье — безнадёжно — и пошла по тёмным доскам обратно.

* * *

Сонный аромат нельзя сварить из сонной травы. Это первое заблуждение всех, кто не держал в руках пипетку. Лаванда, ромашка, хмель — всё это пахнет сном так же, как нарисованный огонь греет. Человек засыпает не от лаванды. Человек засыпает, когда ему не страшно. А не страшно ему там, где он был маленьким и его любили.

— Это же просто хлеб, — сказал Нико в полночь, сидя на табуретке у стола и наблюдая, как я обжариваю на сухой сковороде ржаную корку.

— Это не просто хлеб. — Я сняла сковороду с огня и вдохнула: подгорело чуть-чуть, совсем чуть-чуть, и это было правильно, потому что корку мать Ансельма ломала, когда та уже потемнела. — Это хлеб, который пекла его мать, когда ему было пять лет и он ещё не видел, как горят корабли.

Нико подумал.

— А если я тоже такой хлеб понюхаю, я засну?

— Нет. Ты заснёшь от своего. Подай мне мёд.

Мы работали до трёх.

Корка — на спирту, настоять и отцедить, чтобы осталась только тёплая, тёмная, хлебная нота без горечи. Мёд — капля, светлый, цветочный, чтобы корка не пахла пеплом. Бельё — это было труднее: чистое, холодное, высохшее на ночном ветру. Я собрала его из бабушкиной лаванды с верхнего уступа органа, из щепотки ирисового корня — он даёт сухость, пудру, ощущение ткани, — и из того, чего у меня не было: ночного воздуха.

— Открой окно, — сказала я Нико.

— Зачем? Холодно.

— Затем, что мне нужен воздух.

Он открыл. В лабораторию вошла тальминская ночь: соль, мокрая черепица, далёкий дым. Я поставила у окна открытую чашку с чистым спиртом и оставила на полчаса. Спирт —

жадный. Он берёт всё, до чего дотянется. Через полчаса в нём был ночной воздух. Немного. Ровно столько, сколько нужно.

А потом — база.

База держит. База — это то, что остаётся, когда гость ушёл. Для человека, у которого внутри полгода горит смола, база должна быть сильнее смолы.

Я достала из органа последний флакон «амбровой слезы».

Тридцать лет бабушка держала его в тёмном стекле. Тридцать лет серая амбра отдавала себя спирту, становясь из резкой, морской, животной — тёплой, глубокой, как кожа близкого человека. Бабушка открывала его на моей памяти три раза. Говорила: «Это на крайний случай, девочка. Или на чудо».

Я долго держала флакон в руке.

— Это дорогое? — спросил Нико шёпотом.

— Это незаменимое.

— Тогда зачем?

Я не ответила. Открыла пробку, отмерила, сколько нужно, — не больше, — и закрыла снова. Флакон стал легче на треть. Я поставила его на место, в гнездо на верхнем уступе, и подумала, что бабушка, наверное, сказала бы: «Ну вот. Крайний случай». Или: «Ну вот. Чудо». С ней никогда нельзя было угадать.

К трём часам у меня была склянка величиной с мизинец. Тёмная, тёплая. Я капнула на ленточку, помахала и поднесла к лицу.

Корка. Мёд. Холодное бельё с лавандой. Ночной ветер в окне. И под всем этим — тепло, глубокое, спокойное, как рука на лбу. Не сон. Обещание, что можно спать.

Нико, сидевший на табуретке, вдруг широко зевнул. Потом ещё раз. Потом посмотрел на меня обиженно.

— Ты же сказала, я от своего засну.

— Ты и засыпаешь от своего, — сказала я. — Сейчас три часа ночи.

* * *

Ансельм сидел на том же месте, что и вечером. Рассвет только начинался — серое море, серое небо, белая полоса на востоке.

Я протянула ему склянку.

— На подушку, — сказала я. — Одну каплю. Не больше. Ложитесь, когда устанете. Не раньше. Дышите.

Он взял склянку огромными пальцами, как берут птенца. Повертел. Открыл, понюхал.

И замер.

Я смотрела, как меняется его лицо. Это нельзя описать, это надо видеть: как человек, которого полгода держали за горло, вдруг чувствует, что пальцы разжались. Не сразу. Не до конца. Но разжались.

— Сколько? — спросил он хрипло. — Сколько с меня?

— Заплатите, когда выспитесь, — сказала я.

Действующие ароматы мне продавать было нельзя. Мэтр Лукас был бы счастлив. Но подарить мне никто не запрещал, а Ансельм был слишком ошарашен, чтобы спорить.

Я вернулась в лавку, когда солнце уже встало. Нико спал на мешках у печки, раскинув руки, с открытым ртом. Я укрыла его бабушкиной шалью, поднялась наверх и села на кровать. Спать не хотелось. Хотелось проверить.

Пробирка стояла на подоконнике. Я сломала воск, приоткрыла пробку на волос и поднесла к носу.

Зелень. Сорванный лист. Наверху, над лилией, над тёмной тяжёлой базой, — такая же свежая, как на балу. Как в полдень в Зеркальной галерее.

Неделя. Семь дней на шёлке, в стекле, в жаре, в качке, в сырости.

Я закрыла пробку, запечатала заново и поставила пробирку обратно на подоконник, на солнце, как будто солнце могло мне что-то объяснить.

Её держит не масло. Её держит что-то живое.

Чем можно приковать сорванный лист к женщине на целую неделю — и кому это понадобилось?

Глава 6. Пёс с таможни

Ансельм проспал четырнадцать часов.

Об этом мне сообщили трое, прежде чем я сама его увидела. Сначала булочник Тонио, который отдал Нико булку с тмином даром — «за боцмана». Потом мальчишка с верфи, который прибежал к лавке, посмотрел на меня круглыми глазами и убежал, не сказав ни слова. Видимо, проверял, правда ли я существую.

Сам Ансельм пришёл к полудню.

Он стоял на пороге — огромный, в чистом мундире, с подколотым рукавом, — и держал под единственной рукой каравай. Круглый, с тёмной коркой, ещё тёплый. От каравая пахло тмином, мёдом и печью. От Ансельма — мылом, свежей рубашкой и чем-то, чего я раньше в нём не слышала. Отдыхом. Горелая смола никуда не делась, но отступила вглубь, как отступает прилив.

— Вот, — сказал он и протянул каравай.

— Спасибо.

— Это не плата.

— Я знаю.

— Плата будет. — Он переступил с ноги на ногу, огромный и неловкий в узкой двери. — Я… — Он замолчал. Глаза у него были мокрые, и он этого не стеснялся. Солдаты, которые видели Сорро, многого не стесняются. — Я спал. Понимаешь? Мне ничего не снилось. Совсем. Я проснулся, а там солнце. Я забыл, как это бывает.

— Это бывает так, — сказала я. — Приходите, когда кончится. Я сделаю ещё.

— Сколько с меня?

— Ничего.

— Так нельзя.

— Можно, — сказала я. — Мне нельзя продавать. А дарить — можно.

Он подумал. Тяжело, основательно, как думают люди, которые редко тратят слова зря.

— Тогда я тебе должен, — сказал он наконец. — Ансельм долги отдаёт.

И ушёл, оставив каравай у меня в руках.

К трём часам у лавки стояли ещё трое. Двое из портовой стражи, один с верфи, все — с Сорро. Один без глаза. Один без двух пальцев на руке. Третий — целый, совсем мальчишка, лет двадцати, и от него горелой смолой пахло сильнее всех. Целым всегда тяжелее. Им не на что показать, когда спрашивают, что болит.

Я пустила их в торговый зал и задумалась.

Мэтр Лукас запретил продавать действующие ароматы до уплаты взноса. Сонный аромат — действующий. Значит, продавать его мне нельзя. Но Лукас ничего не говорил о том, чтобы дарить. И ничего не говорил о том, что мне нельзя принимать подарки.

Я достала из сундука одну из бабушкиных тетрадей, чистую с конца, и на последней странице разлиновала два столбца. Слева написала: «Подарено». Справа: «Получено в подарок».

— Это же то же самое, — сказал Нико, заглянув мне через плечо.

— Нет, — сказала я. — Это законно. Почти.

Я поговорила с каждым — отдельно, в лаборатории, при закрытой двери. Спрашивала одно и то же: что пахло хорошо. Одноглазому — сушёная рыба на крыше отцовского дома в рыбацкой деревне и материн платок. Беспалому — смола сосен в горах, откуда он родом, и козье молоко. Мальчишке… мальчишка долго молчал, а потом сказал: «Сестра. Она маленькая. Пахнет… ну, маленькой». И покраснел до ушей.

Три аромата. Три ночи работы. Три флакона, которые я не продам.

К вечеру в правом столбце тетради стояло: «Ансельм — каравай. Брам — две серебряные монеты, сказал, на материалы, не возьмёшь — обижусь. Кит — мешок угля для куба. Тоби — ничего, у него нет, сказал, починит ставню».

Ставню Тоби починил тем же вечером. Криво, но держалась.

* * *

Таможенный склад Тальмы стоял у новой гавани и раз в две недели продавал с молотка конфискованное — то, что не забрали хозяева и что не стоило везти в столицу. Нико сказал, что там бывает дешёвое стекло. Стекло мне было нужно: если я собиралась дарить по три флакона в день, своих склянок хватило бы на неделю.

Склад пах так, как пахнут все склады мира: пылью, мешковиной, мышами и чужими тайнами. Тайны пахли по-разному. Из одного ящика тянуло контрабандным мускусом — настоящим, не тем, что разбавляют рыбьим маслом. Из другого — чем-то сладким и тяжёлым, чего я не узнала и что мне не понравилось. Из третьего — серой солью с промыслов, конфискованной за неуплату пошлины.

Я купила стекло: два ящика пузырьков из толстого зелёного стекла, грубых, с кривыми горлышками, но целых. И мешок соли — для холодной закладки и для чистки куба. Писарь взял с меня шесть серебряков. Я посчитала в уме, сколько это в караваях, и решила больше не считать.

И тогда я услышала собаку.

Она не лаяла. Она рычала — низко, хрипло, не переставая, как рычат собаки, которые уже не надеются, что их услышат. Звук шёл со двора за складом. Нико потянул меня за рукав в ту сторону, хотя я и сама уже шла.

Во дворе, у столба с железным кольцом, сидел пёс. Большой, серый, лохматый, с проседью на морде и с ушами, одно из которых стояло, а другое — нет. На шее у него был ошейник с медной бляхой таможни. Ошейник был пристёгнут к кольцу короткой цепью — так коротко, что пёс не мог лечь.

Рядом стоял человек в мундире таможенного капитана. Худой, с прилизанными чёрными волосами и золотым зубом, который поблёскивал, когда он говорил. От него пахло лакрицей, дорогим мылом и чужими деньгами — я не знаю, как ещё описать этот запах: так пахнут кошельки, которые побывали в слишком многих руках.

— На живодёрню, — сказал капитан писарю, который выбежал за нами. — Сегодня же. Мне надоело.

— Так он же лучший, капитан Сальви… — неуверенно начал писарь. — Шесть лет на таможне. Он в прошлом году бочку с мускусом под полом нашёл, на «Бирюзе»…

— Он на меня лает, — сказал капитан Сальви. — Каждый день. При людях. Собака, которая лает на капитана, — плохая собака. На живодёрню.

Пёс зарычал громче. Он смотрел на капитана не отрываясь, и в этом взгляде не было злобы. Было что-то другое. Терпение. Так смотрит человек, который знает правду и уже устал её повторять.

Я подошла ближе.

Капитан Сальви оглядел меня — платье, фартук, который я забыла снять, ленту на запястье — и улыбнулся одной половиной рта, той, где не было золота.

— Сударыня?

— Сколько стоит собака? — спросила я.

— Собака не продаётся. Собака — таможенная.

— Таможенная собака, которую ведут на живодёрню, — сказала я, — уже не таможенная. Она ничья. Сколько?

Сальви посмотрел на писаря. Писарь посмотрел в книгу. Видимо, в книге не было графы для таких случаев.

— Два серебряка, — сказал писарь неуверенно. — За ошейник. Ошейник казённый.

Я отсчитала два серебряка. Это были мои последние мелкие деньги в кармане — остальное лежало наверху, в кошеле, на сорок золотых для Гильдии и на жизнь. Капитан Сальви пожал плечами, сказал: «Как угодно», — и ушёл, поблёскивая зубом. От него на прощание потянуло тем самым — сладким, тяжёлым, что я слышала из ящика на складе. Совсем чуть-чуть, с пальцев.

Я присела перед псом на корточки.

Он перестал рычать сразу, как только капитан скрылся за углом. Посмотрел на меня. Понюхал воздух — долго, вдумчиво, поворачивая голову, как поворачивает её нос, когда пробует незнакомую ноту. Потом потянулся вперёд, насколько пускала цепь, и обнюхал мою руку. Левую. Запястье. То самое место, под пепельной лентой, куда каждое утро ложилась «Тишина».

И сел.

Сел и уставился на моё запястье так, словно это была дверь. Закрытая дверь, за которой кто-то есть. Он не скулил, не вилял хвостом, не пытался лизнуть. Он просто сидел и смотрел, терпеливо, как смотрят на дверь, которая рано или поздно откроется.

— Что это он? — шёпотом спросил Нико.

— Не знаю, — сказала я честно.

Я отстегнула цепь. Пёс встал, потянулся, хрустнув всеми суставами сразу, и пошёл за мной. Не рядом — на шаг позади, у левой ноги, как ходят хорошо выученные собаки. Мы вышли со двора таможни: я с двумя ящиками стекла, Нико с мешком соли и пёс, который ни разу не оглянулся на столб.

— Как его звать? — спросил Нико у ворот.

— Не знаю. Спроси у него.

Нико посмотрел на пса. Пёс посмотрел на Нико. Хвост у него, длинный, лохматый, серый с тёмным кончиком, качнулся — один раз, вправо и влево.

— Фитиль, — сказал Нико уверенно. — Хвост у него как фитиль у лампы. Серый, а на конце чёрный. Как будто подгорел.

Пёс подумал и не возразил.

* * *

Фитиль первым делом нашёл мяту.

Мята росла во дворе у Коры, за низкой каменной оградой, густая, тёмная, на целую грядку. Фитиль перемахнул через ограду с лёгкостью, неожиданной для пса его возраста, лёг в мяту на спину, раскинул лапы и стал кататься. С наслаждением. С хрустом. С такой самозабвенной радостью, что мне стало неловко на него смотреть.

Ставня наверху распахнулась.

— Это ещё что?!

— Это Фитиль, — сказала я. — Простите. Я его сейчас уберу.

— И псину завела! — Кора свесилась из окна по пояс. — Генеральша с псиной! Ты мне всю мяту… Он мне всю мяту!..

— Я посажу вам новую.

— Новую она посадит! Мяте три года!

Я перелезла через ограду — в фартуке и платье, неловко, ободрав колено о камень, — и пошла выуживать Фитиля из мяты. Он не сопротивлялся. Он пах мокрой псиной и мятой одновременно, и это было лучшее, что я нюхала за день.

Дверь в кухню Коры была открыта. Я не собиралась заглядывать. Просто взгляд сам упал внутрь, когда я тащила Фитиля за ошейник мимо порога.

Чистая кухня. Большая плита. Утюги на полке, в ряд, от большого к маленькому, как солдаты. Корыта. Связки сушёной лаванды под потолком. И на полке над плитой, между банкой с солью и банкой с крахмалом, — маленькая серая глиняная урна. Без узоров.

Точно такая же, как та, что стояла у меня наверху, на подоконнике, рядом с пробиркой.

Я остановилась.

— Это… — начала я, поднимая голову к окну.

Ставня захлопнулась так, что посыпалась штукатурка.

* * *

Арман

Император давал обед для Великих домов, и я сидел по правую руку от Лилиан Корсо.

Она пахла лилиями и горькой зеленью. Зверь от этого запаха мурлыкал — внутри меня, низко, утробно, как сытый кот у печки. Я никогда не слышал, чтобы он мурлыкал. Он рычал, он выл, он рвался, он засыпал перед боем, как засыпают солдаты, — вполглаза. Мурлыкать он не умел. А теперь умел.

И голова болела. От этого запаха — или от чего-то ещё — голова болела третий день подряд, так, что я перестал различать вкус еды.

— Милорд, — сказала Лилиан тихо, почти не шевеля губами. — Застёжка…

Ожерелье у неё на шее расстегнулось — тонкая цепочка с жемчугом, подарок отца к помолвке. Она пыталась застегнуть его сама, и пальцы не слушались. Я протянул руку и застегнул. Пальцы коснулись её шеи, под левым ухом. Метки.

Метка была холодной.

Как монета на морозе. Как камень у реки. Ровной, гладкой и холодной, и под моими пальцами она не потеплела ни на волос.

Я убрал руку. Лилиан вздрогнула — не от прикосновения, после. Как вздрагивают, когда хлопнула дверь.

Так бывает, сказал я себе. Наверное. Я не знал, как бывает: у меня никогда не было истинной. У отца была. Я помнил её смутно — мне было двенадцать, — светлую женщину в зелёном, от которой пахло… Не помнил чем. Помнил только, что от неё у меня кружилась голова, и что через год её не стало, и что отец после этого больше никогда не смеялся.

— Вы устали, милорд? — шепнула Лилиан.

— Нет.

Она опустила глаза. От неё на миг пахнуло страхом — молочным, детским, — и тут же лилия и зелень снова закрыли всё.

Я вернулся домой за полночь. В гардеробной горела лампа: Гаспар полировал мундир. Он всегда полировал их сам, сколько я себя помню, — сначала отцовские, потом мои. Чешуйная нить требует особого обращения: её нельзя мыть, только чистить лимонным маслом и полировать замшей, по нити, по каждой чешуйке в узоре, иначе при обороте она идёт не в лад и рвётся.

Я подошёл посмотреть. Не знаю зачем. Привычка проверять снаряжение.

Узор на левом рукаве — охряные чешуйки, нашитые внахлёст, от плеча к запястью. В третьем ряду от манжета одной не хватало. Пустое место, светлое, как след от курильницы в нише.

— Линька, милорд, — сказал Гаспар, не поднимая глаз. — Я соберу. Пришью к утру.

— Хорошо, — сказал я.

Мне снилась морская вода. Шипение на углях, пар, соль. И в пару — хлеб. Тёплый хлеб с коркой и море перед грозой. Я шёл на этот запах по тёмному коридору, долго, а он всё отступал, и в конце коридора была закрытая дверь.

Я проснулся с мокрым лицом. Не помнил, когда в последний раз плакал во сне. Решил, что пот.

* * *

Ирис

Ночью Фитиль зарычал.

Я не спала: сидела наверху при свече над бабушкиной тетрадью, искала хоть что-нибудь о фиксаторах, которые держат верх. Фитиль лежал в моей комнате — внизу он спать отказался, поднялся за мной по лестнице и лёг поперёк двери, как бревно. Нико внизу посапывал у печки.

Рычание было тихим. Таким же, как во дворе таможни, — низким, хриплым, долгим. Фитиль стоял у окна, упёршись передними лапами в подоконник, и смотрел вниз, на улицу.

Я задула свечу и подошла.

Улица Медных Весов спала. Луна, мокрый булыжник, тёмные окна, бельё Коры на верёвке между домами — белые простыни, неподвижные в безветрии. У стены напротив, в тени балкона, стоял человек.

Обычный. Невысокий, в тёмном плаще, без шляпы. Он не прятался. Он стоял и смотрел на мои окна.

Я втянула воздух — привычно, как делала это всю жизнь, прежде чем войти в комнату или открыть дверь.

Соль. Мокрый камень. Мята из двора Коры. Простыни — крахмал и лаванда. Рыба из порта, далёкая. Кошка где-то на крыше. Ночь.

И больше ничего.

Ни кожи. Ни пота. Ни шерсти плаща. Ни дыхания. Там, где стоял человек, в воздухе была дыра. Пустое место, вынутое из запахов ровно по его очертаниям, — как если бы кто-то вырезал ножницами силуэт из ткани ночи.

Я, лучший нос своего поколения, стояла у окна и не слышала его вовсе.

Глава 7. Дыра в воздухе

Я спустилась на улицу с лампой в одной руке и с кочергой в другой. Кочергу я взяла у печки, перешагнув через спящего Нико, и только у двери сообразила, как это выглядит: бывшая генеральша в ночной рубашке, с шалью на плечах и с кочергой. Бабушка бы одобрила. Мама — нет.

Фитиль вышел первым. Он не бросился через улицу, не залаял — просто встал на пороге, расставив лапы, и опустил голову, нюхая воздух. Шерсть на загривке у него стояла дыбом.

Человека у стены напротив не было.

Я перешла улицу. Под балконом, где он стоял, булыжник был сухим — балкон прикрывал его от дождя, — и на сухом камне ничего не осталось. Ни следа, ни запаха. Я присела и поднесла лампу почти к самой мостовой. Пыль. Кошачья метка у водостока. Мятный лист, принесённый ветром со двора Коры. Ничего человеческого.

Фитиль подошёл, обнюхал то же место и посмотрел на меня. Потом — вдоль улицы, вниз, к пристани. Потом снова на меня. Он не знал, куда идти. Это было хуже всего: собака, которая шесть лет находила бочки с мускусом под досками трюма, стояла посреди улицы и не знала, куда идти.

— Пойдём, — сказала я. — Нечего тут.

Дома я заперла дверь на засов, чего не делала ни разу с приезда, и долго сидела у остывшей печи, обхватив колени.

В школе носов о «Пустоте» говорили шёпотом.

Это было десять лет назад, мне было девятнадцать, и я провела в Янтарной башне полгода — училась перед Состязанием носов, как полагалось лучшим ученицам из провинции. Нас было двенадцать в спальне под крышей, и по ночам мы рассказывали друг другу страшные истории, как рассказывают их все девчонки во всех школах мира. Про мастера, который сварил духи из слёз и сошёл с ума. Про невесту, которую надушили чужим запахом, и жених женился на служанке. И про «Пустоту».

Говорили, что у Гильдии есть состав, который стирает человека из воздуха. Что гильдейские смотрители натираются им перед проверками, чтобы мастер не учуял их заранее у двери. Что ни один нос, ни одна собака, ни один дракон не слышат того, кто в «Пустоте». Мы ёжились под одеялами и не верили. Потом одна девочка, рыжая, из Ларго, сказала, что её дядя служит в Гильдии и видел. Её звали… я не помнила, как её звали. Помнила, что на следующий день её отправили домой — за непослушание.

Я тогда решила, что это совпадение. Мне было девятнадцать.

«Тишина» прятала мой запах, но не стирала меня. Собаки, люди, даже Фитиль — все знали, что я есть, просто не знали, какая я. А тот человек под балконом не пах ничем вообще. Как будто его не было.

Кто-то из Гильдии стоял ночью под моими окнами и смотрел.

Я сидела у печи до рассвета. Нико во сне бормотал что-то про каштаны.

* * *

Утром я разлила по зелёным склянкам три сонных аромата для ветеранов, подписала каждую — «Брам», «Кит», «Тоби» — и решила, что жить буду так же, как жила. Если за мной смотрят, пусть смотрят, как я работаю. Ничего другого я им показывать не собиралась.

Это решение продержалось до полудня.

В полдень в лавку ворвалась девушка.

Именно ворвалась: дверь распахнулась так, что колокольчик над ней, который Нико утром повесил для красоты, сорвался и укатился под прилавок. Девушка была босая, в сером платье служанки, порванном на плече, с длинной царапиной на щеке и с глазами, как у загнан-

ной лошади. Она пахла страхом так сильно, что у меня перехватило горло. Страх, пот, кровь из царапины, щёлок, которым моют полы в богатых домах, — и собаки. Где-то совсем близко, за поворотом улицы, лаяли собаки.

— Пожалуйста, — сказала она. — Пожалуйста.

Больше она ничего не сказала. Не успела. Лай стал громче, и вместе с ним — мужские голоса, топот, чей-то крик: «Держи воровку! Вниз по Медным!»

Я посмотрела на девушку. Она — на меня. Ей было лет девятнадцать. Как Лилиан Корсо.

— Они найдут, — прошептала она. — Они по запаху. Хозяин велел… Они всегда находят.

Собаки находят по запаху. А запах я умела прятать лучше всех в империи.

Я не думала. Потом я много раз пыталась вспомнить, что я думала в тот миг, и не смогла: не было там мыслей, были руки. Руки сами нашли в кармане фартука мамин хрустальный флакон — я носила его с собой с первого дня, по привычке, — сами сорвали пробку и сами вылили «Тишину» девушке на шею. На запястья. На волосы. На рваный рукав, на царапину, на босые ноги, на подол.

Много. Слишком много. Я видела, как уровень в хрустальном флаконе падает, и не могла остановиться, потому что лай был уже на нашей улице.

— Туда. — Я толкнула её за прилавок, вниз, в узкое место между органом и стеной, где бабушка держала пустые ящики. — Сядь. Не шевелись. Не плачь. Плач тоже пахнет.

Она села. Она даже перестала плакать — я увидела, как она прикусила губу до белизны.

Я закрыла флакон, сунула его в карман и встала за прилавок с пробной ленточкой в руке, как будто весь день только и делала, что нюхала ленточки.

Дверь открылась снова — на этот раз без колокольчика.

Сначала вошли собаки. Две, рыжие, поджарые, гончие, с мокрыми носами и с обрывками верёвок на ошейниках. За ними — мужчина в добротной куртке управляющего, с хлыстом в руке, красный от бега. За ним маячили ещё двое, в фартуках грузчиков.

Собаки влетели в торговый зал, ткнулись носами в пол у порога, крутанулись на месте — и остановились.

Я видела, как они ищут. Носы по полу, вдоль прилавка, к двери лаборатории, обратно. Их вёл свежий след — страх, кровь, щёлок, — и след обрывался посреди зала, как обрывается нитка, которую перерезали. Одна гончая заскулила. Другая села и растерянно посмотрела на хозяина.

— Где она? — рявкнул управляющий.

— Кто? — спросила я.

— Девка! Служанка! Сюда забежала!

— Здесь только лаванда и я, сударь, — сказала я и показала ему ленточку. — Хотите понюхать? Свежая.

Он не хотел. Он прошёл по залу, заглянул в лабораторию, где на столе остывал вчерашний настой корки, заглянул в кладовую. Подошёл к прилавку. Я стояла неподвижно. Между мной и девушкой за органом было два шага и бабушкины ящики.

Гончие крутились у его ног и скулили.

И тогда из-под прилавка вылез Фитиль.

Он спал там с утра, в тени, на старом мешке, и, видимо, решил, что спать при таком шуме неприлично. Вылез, потянулся, хрустнув суставами, посмотрел на гончих. Не зарычал даже. Просто посмотрел, сверху вниз, как смотрит старый сержант на новобранцев, которые забыли застегнуть мундир.

Гончие попятились. Одна из них прижала уши.

— Ваша? — спросил управляющий, отступив на шаг.

— Моя. Таможенная, в отставке.

Управляющий выругался — длинно, со вкусом, помянув пепел, ноздри и чью-то мать, — свистнул собакам и вывалился на улицу. Грузчики за ним. Я слышала, как они побежали вниз, к пристани, и как гончие, обрадовавшись свободе, взяли какой-то старый след и понеслись по нему с лаем. Наверное, след кошки.

Я выдохнула.

Колокольчик под прилавком тихо звякнул: его задела рука девушки, когда она пыталась встать.

* * *

Её звали Мариса.

Она сидела на табуретке в лаборатории, закутанная в бабушкину шаль, с кружкой горячей воды с мёдом в руках, и рассказывала, а я промывала ей царапину на щеке чистым спиртом и слушала.

Отец задолжал солеторговцу Ортису. Не много — восемь золотых, за соль для засолки рыбы, в неурожайный на сельдь год. Отдать не смог. По закону Тальмы долг можно отработать: «служилый договор», пять лет в доме кредитора. Отец подписал. За неё — она была старшей.

— Хозяин ничего, — сказала Мариса. — Хозяин меня не трогал. Хозяйка… — Она помолчала. — У хозяйки рука тяжёлая. Сегодня она серебряную ложку не нашла. Сказала, я украла. Велела позвать стражу. Я знаю, что бывает, когда стражу зовут на служилую. Год на промыслах, и долг сверху. Я убежала.

— А ложку ты брала?

Мариса посмотрела на меня так, что мне стало стыдно за вопрос.

— Она её сама в шкатулку убрала. С кольцами. Я видела. Я сказала. Она меня по лицу.

Я молча промокнула царапину.

Дверь хлопнула, и в лабораторию вошла Кора — без стука, с мокрыми руками, в фартуке, от которого пахло горячим мылом. Посмотрела на Марису. На меня. На кружку.

— Собаки Ортиса, — сказала она. Не спросила. — Слышала. Весь квартал слышал.

— Её нельзя возвращать, — сказала я. — Там её обвинят в краже.

— Знаю я ту хозяйку. — Кора сплюнула бы, если бы было куда. — Ортисова жена. Ведьма с колечками. — Она подумала, оценивающе разглядывая Марису, как разглядывают простыню: выдержит ли стирку. — Ко мне её. В прачечную.

— Её там найдут.

— В прачечной? — Кора фыркнула. — Там столько пара и щёлока, что ни одна собака носа не сунет. Сунет — вынет облезлый. А мне руки нужны. Утюги таскать умеешь, девка?

Мариса кивнула.

— Вот и ладно.

И Кора увела её — так же без лишних слов, как пришла. В дверях обернулась.

— Ты что ей вылила? — спросила она. — Я в дверях её не учуяла. Совсем. Как пустое место прошла.

— Ничего особенного, — сказала я. — Мамины духи.

Кора посмотрела на меня долгим взглядом. В её жёлтых глазах опять было то, что я видела в первый день: не злость. Что-то внимательное, тяжёлое.

— Береги их, генеральша, — сказала она и ушла.

* * *

Вечером я достала флакон и посмотрела его на свет.

Половины не было.

Мамин хрустальный флакон, с притёртой пробкой и тонкой гранью по горлышку, — я привезла его из дома Валеро почти полным. Месяца на три, считала я на корабле. Теперь там оставалось на полтора. Если мазать тонко — на два.

А дальше?

Дальше я не знала. Рецепта «Тишины» у меня не было. Мама варила её сама, ночами, когда я спала, и никогда не показывала, что кладёт. После её смерти бабушка варила по маминым записям — большими склянками, из маминого запаса корня, — пока запас не кончился. Последнюю склянку она отдала мне перед свадьбой и сказала: «Больше не проси. Корня нет, а где мама его брала — не знаю». Семь лет я доливала из этой склянки мамин хрустальный флакон. Склянка опустела этим летом: последнее я перелила во флакон перед самым балом. А записи пропали вместе с маминой тетрадью.

Я поставила флакон на подоконник рядом с пробиркой и урной. Три мои драгоценности: подделка, которую надо доказать; пепел, который надо хранить; и «Тишина», которую надо беречь. Ни про одну я не знала, зачем она мне по-настоящему.

Мама велела никогда не снимать. Я не снимала двадцать три года. Привычка — это тоже запах: въедается в кожу так, что не замечаешь.

Я умылась на ночь, как всегда. Мама учила: «Тишину» смывать перед сном, кожа должна дышать. Ночью ко мне никогда никто не входил — ни в доме Валеро, где я спала одна в комнате на двоих, ни раньше. Только мама и бабушка, когда я была маленькой. Они заходили поправить одеяло.

Я села на кровать в одной рубашке и стала расплетать косу.

Фитиль, лежавший у двери, вдруг поднял голову.

Он встал, подошёл ко мне — неторопливо, на негнущихся старых лапах — и обнюхал моё запястье. Левое. Там, где утром была «Тишина», а теперь — ничего, просто кожа и пепельная лента. Обнюхал долго, тщательно, как обнюхивал на таможне подозрительный тюк. Потом шумно вздохнул, как вздыхают собаки, когда наконец нашли то, что искали, и положил тяжёлую голову мне на колени.

Он больше не смотрел на моё запястье как на дверь.

Я сидела и не двигалась, боясь спугнуть.

На лестнице заскрипели ступени. В дверях появился Нико — сонный, растрёпанный, в своей огромной рубахе, щурясь на свечу.

— Слушай, — сказал он, зевая. — А у тебя хлеб где-то печётся?

— Что?

— Хлеб. Пахнет. — Он потянул носом, прислонившись к косяку. — Тёплый такой. И как перед грозой. И ещё что-то… как у бабки Аделины в сундуке. — Он зевнул опять, так что хрустнула челюсть. — Вкусно.

— Никакого хлеба нет, Нико.

— А. Ну значит, приснилось.

Он повернулся и пошлёпал вниз, держась за перила.

Я поднесла запястье к носу. Втянула воздух — раз, другой, третий.

Ничего. Кожа и ничего. Свой запах нос не слышит никогда — это знает каждый парфюмер: к себе привыкаешь с рождения, как к шуму моря, который перестаёшь замечать, если живёшь на берегу. Мама и бабушка могли бы мне сказать. Они знали. Они поправляли мне одеяло.

Фитиль вздохнул у меня на коленях.

Мне двадцать девять лет. И я не знала, чем я пахну.

Глава 8. Чешуйка

Фиговый лист пахнет так, как пахнет лето, когда его сорвали с ветки и смяли в кулаке: зелено, горько, молочно, с липким белым соком на изломе. Ближе к той ноте я ничего найти не смогла.

Фига росла во дворе, у колодца, старая и кривая, бабушкина ровесница. Я сорвала с неё десяток листьев, растёрла в ступке и залила спиртом. Через час у меня был зелёный, горький, живой настой — верх, который улетает за четверть часа.

А потом я устроила ему испытание.

На длинном столе в лаборатории легли в ряд пробные ленточки. На каждую — капля зелёного настоя. И к каждой — по фиксатору, от лёгкого к тяжёлому: бензойная смола, ладанник, мастика, дубовый мох, ирисовый корень, ваниль, мускус из бабушкиного запаса, серая амбра, даже капля «амбровой слезы», которую я отмерила, скрепя сердце. Девять ленточек. Над каждой — бумажка с названием, написанным моей рукой, кривым от спешки почерком.

— Это что? — спросил Нико, заглядывая в дверь с полной корзиной мидий.

— Скачки, — сказала я. — Кто дольше продержится.

— А кто бежит?

— Лист.

Нико подумал, решил, что я опять говорю странное, и ушёл варить мидии.

Через час зелень на шести ленточках умерла. На смоле и мхе ещё дышала — слабо, как дышит больной. Через три часа умерла везде, кроме амбры: на амбре остался горький призрак, слабый, далёкий, как запах сада через закрытое окно. К вечеру умер и он.

Я сидела над девятью ленточками и чувствовала себя так, словно проиграла все девять скачек сразу.

Ни один фиксатор не держит верх и до вечера. Ни один из тех, что я знала. А на шёлке в пробирке зелень жила уже двенадцатый день.

«Есть фиксаторы, о которых не пишут в книгах».

Я вспомнила это внезапно, посреди чистки ступки, и чуть не уронила пестик. Эту фразу сказали при мне. Давно. В Янтарной башне, на одной из лекций, которые старшие мастера читали ученицам перед Состязанием. Лекция была про фиксаторы, скучная, длинная, и кто-то из мастеров — кто? — сказал вот это. «Есть фиксаторы, о которых не пишут в книгах». И тут же перевёл разговор на мускус. Я тогда записала и подчеркнула. А кто сказал — не помнила. Мне было девятнадцать, я была влюблена в собственный нос и смотрела больше на флаконы, чем на мастеров.

Помнила другое: бабушка, провожая меня в Башню, велела не смывать «Тишину» даже на ночь. «Ни разу, девочка. Пока ты там — ни разу». Я спала в «Тишине» полгода и думала, что бабушка боится, как бы соседки по спальне не украли мой запах для своих духов. Мне было девятнадцать.

Чем ещё можно держать?

Не смолой. Не мхом. Не амброй. Значит — тем, чего нет в лавке. Тем, о чём не пишут. Чем-то живым. «Её держит что-то живое», — записала я несколько дней назад. Живое… Что держит запах дольше всего на свете?

Кожа, — подумала я. Кожа держит свой запах всю жизнь. Волосы. Шерсть. Перья. Чешуя.

Чешуя.

Я встала из-за стола так резко, что опрокинула табуретку.

* * *

Шесть лет назад он приехал раненым.

Это было на второй год нашего брака, в конце зимы. Он прилетел ночью с тессийского берега — один, без адъютанта, с распоротым от плеча до локтя левым рукавом и с раной под ним, которую полковой лекарь зашил на месте, наспех, грубыми стежками. Прилетел не ко мне — в столицу, на совет у императора, — а домой заехал переночевать, потому что до утра совет не собирался.

Гаспар в ту ночь лежал с лихорадкой. Камердинер был в отпуске. Мундир с распоротым рукавом висел на спинке кресла в генеральской гардеробной, и никто не знал, что с ним делать, потому что чешуйную нить нельзя доверять швеям. А утром генералу нужно было в нём явиться к императору.

Я его зашила.

Сама. Ночью, при лампе, тонкой иглой и шёлковой нитью цвета охры, которую нашла в рабочей шкатулке Гаспара. Шила, как бабушка учила сшивать лопнувшие кожаные мешочки для саше: мелко, ровно, стежок к стежку, чтобы не было видно. Чешуйки в узоре рукава шли внахлёст, от плеча к манжете, и когда я поддела иглой край разрыва, одна из них отделилась и упала мне на колени. Маленькая, с ноготь мизинца. Охряная, с тёмной каймой. Тёплая.

Я хотела пришить её обратно. А потом не пришила. Положила в карман, а потом — в шёлковый мешочек, а мешочек — в бабушкин дорожный ящик, в гнездо для пробника, и закрыла крышку.

Это был единственный раз, когда я открывала ящик в доме Валеро ради ремесла.

Утром он вышел к завтраку в зашитом мундире. Посмотрел на рукав. Посмотрел на меня — я сидела в конце стола на двадцать персон, у окна, с чашкой отвара.

— Спасибо, леди Валеро, — сказал он.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.